

The background is a painting of a rainy street scene. A large black umbrella is open, with rain falling around it. A top hat is visible on the right. In the background, there are sketches of buildings and a boat on water. The overall style is expressive and somewhat abstract.

ВАСИЛИЙ
АКСЁНОВ

Московская сага

Книга третья

Тюрьма и мир

АЗБУКА-КЛАССИКА

18+

Московская сага

Василий Аксенов

**Московская сага.
Книга 3. Тюрьма и мир**

«Азбука-Аттикус»

1993

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Аксенов В. П.

Московская сага. Книга 3. Тюрма и мир / В. П. Аксенов —
«Азбука-Аттикус», 1993 — (Московская сага)

ISBN 978-5-389-22463-6

Василий Павлович Аксёнов – признанный классик и культовая фигура русской литературы. Его произведения хорошо известны не только в России, но и за рубежом. Успех пришел к Аксёнову еще в 1960-е годы, – откликаясь блистательной прозой на самые сложные и актуальные темы, он не один десяток лет оставался голосом своего поколения. В числе полюбившихся читателям произведений Аксёнова – трилогия «Московская сага», написанная в начале 1990-х годов и экранизированная в 2004 году. Трилогию составили романы «Поколение зимы», «Война и тюрьма», «Тюрьма и мир». Их действие охватывает едва ли не самый страшный период в российской истории XX века – с начала 1920-х до начала 1950-х годов. Трем поколениям семьи Градовых предстоит пройти все круги ада тоталитарной эпохи. События завершающей трилогию книги разворачиваются в период борьбы с космополитизмом и оканчиваются смертью Сталина.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-389-22463-6

© Аксенов В. П., 1993
© Азбука-Аттикус, 1993

Содержание

Глава I	6
Глава II	17
Глава III	24
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Василий Аксёнов

Московская сага

Книга третья

Тюрьма и мир

*Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком...
Однажды я шел Арбатом,
Бог ехал в пяти машинах...*

Борис Слуцкий

© В. Аксёнов (наследники), 2018

© Ю. Пименов (наследники), иллюстрация на обложке, 2018

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018

Издательство АЗБУКА®

Выделявшийся среди поэтов зрелой советской поры своим талантом, автор приведенных в эпиграфе строк все-таки не достиг ясности Хлебникова, а потому этот, как и предыдущий наш эпиграф Л. Н. Толстого, нуждается в некотором пояснении.

Называя Сталина «богом», Борис Слуцкий, естественно, как человек, воспитанный на идеалах коллективизма, материализма, интернационализма и прочей коммуналки, употребляет это слово в сугубо негативном смысле. Уж конечно, не Бога, Творца Всего Сущего, имеет он в виду, а некое идолище, узурпатора светлых идей революции, тиранище, надругавшееся над вдохновениями молодых ифлийцев, установившее свой культ над поруганной народной демократией. Потому и снабжает он своего «бога» ошеломляющим, с точки зрения материалиста, парадоксом – едет одновременно в пяти машинах! Перед нами морозящая кожу картина: ночь, Арбат, размножившееся на пять машин идолище едет в своем неизвестном направлении. Отнюдь не мчится. Кажется, не любил быстрой езды. Как с человека нерусского, с него и взятки гладки.

В шестидесятые годы в гараже «Мосфильма» стояла одна из этих пяти машин, может быть, самая главная, где основная часть идолища передвигалась, его тело. Это был сделанный по заказу бронированный «паккард» с толстенными стеклами. Даже с очень мощным мотором такую глыбу трудно было вообразить мчащейся. Неспешное, ровное, наводящее немыслимый ужас движение. Впереди и сзади катят еще четыре черных чудища. Все вместе – одно целое, «бог» коммунистов.

Писатель иной раз может испытать соблазн и, сопоставив два противоположных чувства – страх и отвагу, сказать, что это явления одного порядка. Страх, однако, более понятен, он ближе к биологии, к естеству, в принципе он сродни рефлексу: отвага сложнее. Так, во всяком случае, нам представляется к моменту начала нашего третьего тома, к концу сороковых годов, когда страна, еще недавно показавшая чудеса отваги, была скована ошеломляющим страхом сталинской пятимашинности.

Глава I

Московские сладости

В Нагаевскую бухту входил теплоход «Феликс Дзержинский»; весьма гордая птица морей, подлинный, можно сказать, «буревестник революции». Таких профилей, пожалуй, не припомнит Охотское море с его невольничьими кораблями, кургузыми посудинами вроде полуразвалившейся «Джурмы».

«Феликс» появился в здешних широтах после войны, чтобы возглавить флотилию Дальстроя. Среди вольноотпущенников ходили насчет заграничного гиганта разные слухи. Болтали даже, что принадлежало судно самому Гитлеру и что в тридцать девятом злополучный фюрер подарил его нашему вождю для укрепления социалистических связей. Подарить-то подарил, а потом пожадничал и отобрал назад, а заодно и чуть Москву не захапал. История его, конечно, наказала за коварство, и теперь кораблик снова наш, закреплен навеки гордым именем «рыцаря революции». По этой байке выходило, что чуть ли не вся Великая Отечественная разгорелась из-за этой посудины, однако чего только не намелют бывшие зэки, сгрудившись व्यужной ночью в бараке и наглотавшись чифирия. Ну и, конечно же, непременно пристегнут к любой подобной истории своего любимого героя по кличке Полтора-Ивана.

Полтора-Ивана был могучий и прекрасный, как статуя, юный, но в то же время очень зрелый, звероподобный зэк. Сроку у него было в общей сложности 485 лет плюс четыре смертных приговора, отмененных в последний момент самим великим Сталиным. Именно Полтора-Ивану, а не какому-нибудь адмиралу вождь поручил провести «Феликса» с живым товаром на Колыму. Как так – зэку поручил командовать этапом? Вот именно зэку, но не какому-нибудь охламону, как мы с тобой, а самому Полтора-Ивану! Секрет в том, что у «Феликса» в трюмах сидели тогда 1115 бывших Героев Советского Союза, то есть беспокойный народ. Довезешь гадов до Колымы, сказал Сталин Полтора-Ивану, сам станешь героем, впишешь свое имя золотом в анналы... Куда? В анналы, жопа, в анналы! Не довезешь, расстреляю лично или поручу Лаврентию Павловичу Берии.

Ваше задание, товарищ Сталин, будет выполнено, сказал Полтора-Ивана и полетел с Покрышкиным на Дальний Восток.

Что же получилось? Вместо Нагаева «Феликс» причалил в американском порту, санитарном Франциско. Там уже их встречал президент Генрих Трумен. Всем героям вернули их звания и дали по миллиону. Теперь они хорошо живут в Америке: сыты, обуты, одеты. А Полтора-Ивану Генрих Трумен десять миллионов отвалил за предательство СССР и дачу в Аргентине. Нет, сказал тут Полтора-Ивана, я не родину предавал, а спасал товарищей по оружию, мне ваших денег не надо, гражданин Трумен. И повел «Феликса» обратно к родным берегам. Пока он плыл, обо всем доложили Сталину. Сталин беспрекословно восхитился: вот такие люди нам нужны, а не такая гниль, как вы, Вячеслав Михайлович Молотов!

На Дальний Восток был послан полк МГБ для расстрела героя нашего романа. Кинооператор заснял фильм о конце Полтора-Ивана, который показывали всему Политбюро вместе и по отдельности. На самом деле расстрелян был, конечно, двойник, а Полтора-Ивана со Сталиным съели при встрече жареного барана и выпили самовар спирту, после чего Полтора-Ивана в форме полковника МГБ отправился на Дальстрой и затерялся на время в одном из дальних лагерей.

Такие байки иногда доходили и до капитана «Феликса», но он подобного рода фольклором не интересовался. Вообще не совсем было понятно, чем интересовался этот человек. Стоя на капитанском мостике своего корабля, бывшего атлантического кабелеукладчика, взятого нацистами у голландской компании, а потом оказавшегося в Союзе в качестве трофея, капи-

тан без интереса, но внимательно озирали крутые скалы Колымы, без проволочек уходящие ко дну бухты Нагаево, что приплясывала сейчас под северо-восточным ветром всеми своими волнишками одновременно, словно толпа пытающихся согреться эков. Сочетание резких, глубинных красок, багрянtimer, скажем, некоторых склонов, свинцовость, к примеру, проходящих туч вкупе с прозрачностью страшных далей капитана не интересовало, но к метеорологии, естественно, он относился внимательно. Вовремя пришли, думал он, хорошо бы вовремя и уйти. С этой бухтой в прошлом случалось, что и в одну ночь схватывалась льдом.

Негромким голосом отдавая приказы в машинное отделение, ловко швартуя машину к причалам «шакальского края», как он всегда в уме называл Колыму, капитан старался не думать о грузе, или, как этот груз назывался в бесчисленных сопроводительных бумагах, о контингенте. Всю войну капитан водил сухогрузы через Тихий в Сиэтл за ленд-лизомским добром, очень был доволен своей участью и японских подлюдов не боялся. Совсем другим тогда был человеком наш совсем не старый капитан. Тогда его как раз все интересовало в заокеанской союзнической стране. Общий язык с янки он находил без труда, потому что неплохо его знал, то есть бегло «спикал» по-английски. Совершенно восхитительное тогда было морское осмысленное существование. «Эх, если бы...» – нередко думал он теперь в одиночестве своей каюты, однако тут же на этом «бы», на камешке столь безнадежного теперь сослагательного наклонения, спотыкался и мысль свою не продолжал. В конце концов, чем занимался, тем и занимаюсь – кораблевождением. Совсем не мое дело, что там грузят в Ванине в мои трюмы, бульдозеры или живую силу. Есть другие люди, которым вменяется в обязанность заниматься этой живой силой, пусть их и называют эковозами, а не меня, капитана данной плавединыцы двадцати трех тысяч тонн водоизмещением. Совсем не обязательно мне вникать в какой-то другой, не навигационный смысл этих рейсов, да они меня, эти смыслы, и ни хрена не интересуют.

Единственно, что на самом деле интересовало капитана, был легковой «студебеккер», который всегда сопровождал его в специально выделенном отсеке трюма. Машину эту он купил недавно в Сиэтле в последний год войны, и теперь во время стоянок, как в Ванине, так и в Нагаеве, ее лебедкой опускали на причал, и капитан садился за руль. Ездить ни в том, ни в другом порту капитану было некуда, но он все-таки ездил, как бы утверждая свое лицо международного мореплавателя, а не презренного эковоза. Он любил свой «студ» больше родной жены, которая, похоже, и думать о нем забыла, проживая среди большого количества флотских во Владике. Впрочем, и с машиной, похоже, назревала порядочная гадость: не раз уже на парткоме поднимался вопрос о том, что капитан злоупотребляет служебным положением, выделяется, увлекается иностранщиной. В нынешнем 1949 году такая штука, как американская легковушка в личном пользовании, может до нехорошего довести. Короче говоря, опытный мореход, капитан эковоза «Феликс Дзержинский», пребывал в хронически удрученном состоянии духа, что стало уже восприниматься окружающими как черта характера. Это не мешало ему, впрочем, проявлять исключительные профессиональные качества и, в частности, провести очередную швартовку к нагаевской стенке без сучка и задоринки.

Швартовы были закреплены, и трапы спущены, один с верхней палубы – для экипажа, другой из люка чуть повыше ватерлинии – для контингента. Вокруг этого второго уже стояли чины вохры и цепь сопровождения с винтарями и собаками. За цепью толкалась бригада вольнонаемных из обслуживания санпропускника, и среди них кладовщик Кирилл Борисович Градов, 1903 года рождения, отбывший свой срок от звонка до звонка и еще полгода «до особого распоряжения» и теперь поселившийся в Магадане, имея пятилетнее поражение в гражданских правах. Работенку эту в кладовых санпропускника добыл Кириллу кто-то из зверосовхозовских «братанов». После всех колымских приключений работенка казалась ему синекурой. Зарплаты вполне хватало на хлеб и табак, удалось даже выкроить рубли на черное пальто, перешитое из второго срока флотской шинели, а самое главное состояло в том, что кладовщику

полагалось в одном из бараков нечто такое, о чем Кирилл уже и мечтать забыл и что он теперь называл всякий раз с некоторым радостным придыханием: отдельная комната.

Ему исполнилось недавно сорок шесть лет. Глаза не потускнели, но как бы несколько поменяли цвет в сторону колымской голубой стыни. Разрослись почему-то брови, в них появились алюминиевые проволочки. Поперечные морщины прорезали щеки и удлиннили лицо. В кургузой своей одежде и в валенках с галошами он выглядел заурядным колымским «хмырьком» и давно уже не удивлялся, если на улице к нему обращались с криком: «Эй, отец!»

Теоретически Кирилл мог в любой момент купить билет и отправиться на «материк». В Москве и в области его как пораженца, конечно, не прописали бы, однако можно было, опять же теоретически, устроиться на жилье за сто первым километром. Практически, однако, он сделать этого не мог, и не только потому, что цена билета казалась астрономической (и отец, и сестра, конечно, немедленно бы выслали эту сумму, 3500 рублей), а в основном потому, что возврат к прошлому казался ему чем-то совершенно противоестественным, сродни входу в какие-нибудь гобеленовые пасторали.

Нине и родителям он написал, что, конечно же, приедет, но только не сейчас, потому что сейчас еще не время. Какое время, он не уточнил, и в Москве переполошились: неужели будет высиживать все пять лет поражения в правах? Между тем по Магадану шла так называемая вторая волна. Арестовывали тех, кто только что вышел по истечении сроков на так называемую волю. Кирилл спокойно ждал своей очереди. Укоренившись уже в христианстве, он видел больше естественности в общем страдании, чем в радости отдельных везунков. Он и себя считал везунком со своей отдельной комнатой. Наслаждался каждой минутой так называемой воли, которую он в уме все еще полагал не волей, а расконвоированностью, восхищался любым заходом в магазин или в парикмахерскую, не говоря уже о кино или библиотеке, однако вот уже полтора «свободных» года прошли, а он все еще почти подсознательно пристыживал себя за то, что так нагло удалось «придуриться», «закосить», в глубине души, а особенно в снах, считая, что естественное место страждущего человека не в вольном буфете с пряниками, а в этапных колоннах, влекущихся к медленной гибели. Он помнил, что богатому трудно войти в Царствие Небесное, и полагал себя теперь богатым.

На всю Колыму, на весь миллионный каторжный край, наверное, не было ни одного экземпляра Библии. «Вольнягу» за такую крамолу неизбежно поперли бы из Дальстроя, а то и взяли бы под замок, что касается зэка, тот был бы без задержки отправлен в шахты Первого управления, то есть на уран.

И все-таки кое-где по баракам среди Кирилловых друзей циркулировали плоды лагерного творчества, крохотные, на полладони, книжечки, сброшюрованные иголкой с ниткой, крытые мешковиной или обрывком одеяла, в которые чернильным карандашом новообращенные христиане записывали все, что помнили из Священного Писания, обрывки молитв или просто пересказ деяний Иисуса, все, что удалось им спасти в памяти из добольшевистского детства или из литературы, все, что как-то протащилось сквозь три десятка лет безбожной жизни и их собственного атеистического, как они теперь полагали, бреда.

Однажды как-то Кирилла окликнули на магаданской улице, на скрипучих деревянных мостках. У него даже голова крутанулась от этого оклика – голос прилетел из «гобелена», то есть из нереальной страны, из Серебряного Бора. Две кургузые фигуры бывших зэков в ватных штанах, разбежавшись мимо и споткнувшись, теперь медленно, в изумлении, друг к другу оборачивались. Из полуседого обрамления косм и бороды, из дубленых складок лица на Кирилла смотрел Степка Калистратов, имажинист, неудачливый муж его сестры Нины. «Степка, неужели выжил?!»

Оказалось, не только выжил, но даже как-то и приспособился бывший богемщик. Вышел из лагерей значительно раньше Кирилла, поскольку и сел раньше. Работает вахтером на авторемонтном заводе, то есть ни черта не делает, как и всю жизнь, только пишет стихи. Что ж

ты, и в лагере стихи писал? Степан помрачнел. В лагере ни строчки. Вообрази, за десять лет ни строчки стихов! А здесь вот пошла сплошная «болдинская осень». А второй посадки не боишься, Степан? Нет, теперь уже ничего не боюсь: главное за плечами, жизнь прошла.

Степан свел Кирилла со своей компанией. Раз в неделю собирались у двух петербургских литературных дам, которые сейчас работали няньками в детучреждении. На шатких табуретках сидели, положив ногу на ногу, будто в гостиной Дома литераторов. Говорили о ранних символистах, о Владимире Соловьеве, о культе Софии.

Не Изида трехвенечная
Нам спасенье принесет,
А сияющая, вечная
Дева Радужных Ворот... —

декламировал некто с феноменальной памятью, бывший сотрудник Института мировой литературы, ныне пространщик в городской бане.

Казалось бы, что еще нужно человеку, который оставил свою марксистскую веру, будто змеиную кожу, в каторжных норах Колымы? Расконвоированность, хлеб насущный, радость и робость новой веры, мистические стихи в кругу утонченной интеллигенции, да ведь это же ренессанс «Серебряного века» под дальстроевской маскировкой! Кирилла же не оставляло чувство своей неуместности в магаданском раю, едва ли не вороватости какой-то, как будто он, если пользоваться блатным жаргоном, «на халяву причимчивал к итээровскому костру». Встречая беспрерывно прибывающие новые этапы и провожая отправляемые после санобработки на север, в рудники, он видел себя в их рядах. Вот для этого он был рожден, Кирилл Градов, а не для чего-нибудь другого. Уйти вместе со всеми страждущими и вместе с ними исчезнуть.

Вот и сейчас, глядя на выход этапа из чрева «Феликса», он ощущал в себе сильное желание пройти сквозь цепь солдат и слиться с этой измученной трюмным смрадом, вонючей толпой. Он так и не научился видеть в этих разгрузках привычное, бытовое, рабочее дело. Всякий раз при разгрузках, при выходе человеческих масс из стальной упаковки на простор каторги слышалось ему какое-то симфоническое звучание, орган с оркестром, трагический голос неведомого храма.

Вот они выходят, и жадно хватают ртами щедроты Божьей атмосферы, и видят ясность небес и мрак новой земли – тюрьмы, в которой двум третям из них, а то и трем четвертям предстоит скрыться навеки. Так или иначе, дни полуудушья, качки, тошноты позади. Пока их сортируют в колонны, можно насладиться ненормированными дозами кислорода. Они шевелятся, покачиваются, поддерживают друг друга и оглядывают новые берега. Может быть, для солдат и для вохровского офицера в этих минутах ничего нет, кроме рутины, для эков же, для любого из нового этапа, каждый миг сейчас полон значения. Не из-за этого ли тут и слышится Кириллу какая-то трагическая и все-таки ободряющая музыка? Вот так же и я одиннадцать лет назад, выкарабкавшись из трюма «Волочаевска», ошеломленный воздухом и ширью, испытал какое-то неведомое раньше грозное вдохновение. Тогда я еще не хотел думать о том, что это могло быть приближением к Богу.

Этап с котомками, узлами, перетянутыми веревкой чемоданами собирался толпой на причале у подножия мостовых кранов. Видны были то тут, то там остатки чужеземного обмундирования – то шинель нерусского кроя, то шапчонка, в которой угадывалась бывшая четырехугольная конфедераточка, то финский армейский треух. Да и среди штатского барахла вдруг мелькало нечто, чудом залетевшее сюда из модной европейской лавки, – шляпенка ли тонкого фетра, клетчатый ли шарф альпака, неуместные ли в стылой грязи штиблетики... Сквозь ровный гул иной раз прорывалось какое-нибудь нерусское имя или возглас из иных, придунайских

наречий... В непотребности измученных лиц вдруг начинал светить странно восторженный взгляд, впрочем, не обязательно и зарубежный: может быть, и русские глаза не все еще потеряли способность к свечению.

Солдаты оттеснили мужской этап от борта «Феликса» за рельсы. Началось излияние женской части груза. Сразу возникла другая звуковая гамма. Среди женщин в этот раз явно преобладали галицийские крестьянки. Общность, должно быть, придавала смелости их голосам, они галдели, как на ярмарке. Их тоже оттеснили за рельсы, прямо к подножию клыкастой и мшистой сопки, и там начали сортировку.

Кирилл и другая обслуга санпропускника ждали соответствующих указаний от командования. В зависимости от степени завшивленности и количества инфекционных заболеваний определялся уровень санобработки одежды. В связи с вечной нехваткой спецовок надо было решить, по какому принципу и сколько выдавать бушлатов, штанов, чуней, а также какого срока спецодежда пойдет в расход: большинство этих бушлатов, штанов и чуней были латаными-перелатаными, сущее тряпье, достающееся вновь прибывшим от тех, кто никогда уже свои бушлаты, штаны и чуни не востребует. Решался вопрос, кому выдавать одежду, а кто еще в своем до приисков и лагпунктов дотянет. Кирилл, хоть ему и запрещалось разговаривать с заключенными, многим объяснял, что в лагпунктах могут им выдать что-нибудь более доброкачественное. Ну а уж если получил тряпье из санпропускника, сменки не жди. Нередко он также говорил новичкам, что он и сам еще вчера был таким же, как они, что вот отбухал десятку и вышел, выжил. Новички смотрели тогда на него с острейшим любопытством. Многим он давал надежду этой информацией – все-таки жив человеке, уцелел, значит, и у нас есть шанс, значит, не такое уж это гиблое место «Колыма, Колыма, чудная планета»... Кое-кто, однако, взирал с ужасом: десять лет, от звонка до звонка, как вот этот папаша! Неужели ж и наши десять, пятнадцать, двадцать лет вот так же пройдут, и никакого чуда не произойдет, и не распадется узилище?

Хлопот было много. Вохра бегала вокруг с бумагами, выкликала фамилии, номера, статьи Уголовного кодекса. Надо было еще от костяка этапа отделить спецпоселенцев, а из них выделить спецконтингент, а там разобраться, кто СВ (социально вредный), а кто СО (социально опасный). Вольнонаемная обслуга шустрила вокруг вохры, подхватывая приказания. Шустрил и Кирилл с блокнотиком, со связкой ключей, из которых один, между прочим, был от кладовой с ножными кандалами для особо важных гостей. В общем-то, проявлялась определенная забота о сохранности живого состава заключенных, иначе какой бы смысл был везти их в такую даль. Рентабельность – один из принципов социалистического строительства.

Сегодняшний этап вызывал у начальства особенную головную боль. Наполовину он состоял из «социально нечуждых», то есть из блатных. Среди них, согласно слухам и сообщениям разных «наседок», в огромный магаданский карантинный лагерь прибывала банда «чистяг», боевики одной из двух враждующих по всей гигантской лагерной системе уголовных клик. Когда-то в старые, может, еще ленинские времена уголовный мир разделился на два лагеря. «Чистяги» были верны воровскому кодексу, в лагерях не горбатили, косили, с начальством в жмурки не играли, психовали, бунтовали. «Суки» хитрили, стучали, приспосабливались, доходили даже до такой низости, как выход на общие работы, то есть «ссучивались». Вражда, стало быть, началась на идеологической основе, как между двумя фракциями социал-демократов, однако впоследствии все эти кодексы были забыты, и смысл вражды теперь состоял лишь в самой вражде. С полгода назад один из казахстанских лагерей был избран полем боя. Туда путем сложной внутрилагерной миграции стеклись крупные силы «сук» и «чистяг». В кровавой схватке победили «чистяги». Остатки «сук», смешиваясь с регулярными этапами путем взяток, вымогательств и угроз, мигрировали на Колыму и здесь, по слухам, основательно укреплялись, особенно в огромном карантинном лагере Магадана – Нагаеве. Теперь в Управлении северо-восточных лагерей стало известно, что сюда разрозненными группами и пооди-

ночке начали прибывать «чистяги» и цель у них одна – окончательное искоренение «сук». Естественно, не обошлось в этой истории и без Полтора-Ивана, который был, конечно, самым «чистым» из «чистяг», а может быть, и их главным подпольным маршалом. Он, по слухам, то ли прибыл в этап под видом рядового зэка, то ли прилетел на самолете «Ил-14», маскируясь под личного друга генерала Водопьянова, то ли его в кандальную команду определили, то ли лично начальник Дальстроя генерал Никишов встретил, а его супруга, младший лейтенант МВД Гридасова, приготовила ему постель в особняке на проспекте Сталина; во всяком случае, Полтора-Ивана был здесь.

Так или иначе, но УСВИТЛ ко всем этим шепоткам, рапортичкам и болтовне относился довольно серьезно, резня могла значительно ухудшить баланс рабочей силы, и потому у карантинной вохры в этот день прибавилось головной боли: надо было теперь, кроме политических, еще и блатных серьезно сортировать.

Вдруг, в разгар этого хипежа, через ящики генгруза перепрыгнул какой-то морячок, крикнул поспешавшему в этот момент по другую сторону проволочного забора Кириллу:

– Эй, керя, ты тут такого хера не знаешь, Градова Кирилла?

Кирилл споткнулся.

– Да это, собственно говоря, я и есть, Градов Кирилл...

– «Собственно говоря-я-я», – передразнил морячок, потом сощурился юмористически. – Ну, иди тогда встречай, дядя, к тебе там пассажирка приехала!

– Какая еще пассажирка? – удивился Кирилл.

Слово «пассажирка» морячок произнес с каким-то особым издевательством. Ему, очевидно, было неловко перед самим собой, что он делает одолжение какой-то пассажирке, ищет какого-то Градова, который к тому же оказывается паршивым старым хмырем, как видно, из троцкистов. Кирилл этот тон уловил и почему-то жутко заволновался, как в тот день двенадцать лет назад, когда ему позвонил следователь НКВД и попросил зайти «покалякать».

– Все пассажиры уже на площадке, – нелепо сказал он и показал в сторону проволочного забора, за которым толпились зэки.

Морячок расхохотался:

– Я ж тебе, батя, говорю про пассажирку, а не про зэчку!

Он ткнул большим пальцем себе за плечо в сторону шаровой стены правого борта «Феликса» и пошел прочь.

Почти уже поняв, в чем дело, и отказываясь верить, Кирилл осторожненько, как будто этой осторожностью еще можно было что-то предотвратить, пошел к причалу. Он осторожненько огибал ноги кранов и штабели генгруза и вдруг в десяти метрах от себя увидел спускающуюся по главному трапу знакомую старуху.

В первую секунду у него как бы отлегло от души: все-таки не то, в чем он был почти уже уверен, просто какая-то знакомая по прежней жизни, может быть, из высланных, все-таки не Цецилия явилась, ведь не может же быть... В следующую секунду он понял, что это как раз и была его законная супруга Цецилия Наумовна Розенблюм, а вовсе не какая-то там знакомая старуха.

Сутулая или согбенная под немыслимым числом туго набитых сумок и авосек, она неуклюже шкандыбала вниз по трапу, юбка, как всегда, наперекос, тонкие ноги в немыслимых ботах, еще более немыслимый, как будто с картины Рембрандта, бархатный берет, свисающие из-под него, сильно траченные сединою рыжие космы, пудовые груди, не вмещающиеся в явно маловатое пальто. Казалось, она сейчас рухнет под тяжестью своих сумок, и этих грудей, и всего этого ошеломляющего момента. И впрямь вот ее первый шаг на колымскую землю, и она споткнулась о бревно, зацепилась за канат, разъехалась в луже и упала коленкой в грязь. Мотнулся за ее спиной и даже вроде бы сильно ударил ее меж лопаток большой, как капустный кочан, бюст Карла Маркса, который и сам, словно зэк из-за проволоки, выпирал частями лица

из ячеек авоськи. Естественно, на борту «Феликса» расхохоталась вахтенная сволочь, а на причале охотно заржала вохра. Кирилл бросился, подхватил жену сбоку под мышки, она глянула через плечо, сразу узнала, рот ее с нелепо намазанными губами распахнулся в истошном и долгом, как пароходный гудок, крике: «Кири-и-илл, родной мо-о-ой!» – «Цилень-ка, Циленька моя, приехала, солнышко...» – бормотал он, целуя то, что он мог поцеловать из неловкой позиции, а именно ее молодое ухо и отвисшую, сильно припахивающую котлетой с луком щеку.

Тут, казалось бы, самое время похохотать молодежи, глядя на любовную сцену двух ого-родных пугал, однако почему-то и пароходная команда, и вохра немедленно отвлеклись по своим делам, предоставив пугалам упиваться наедине своей встречей. Для успешного издевательства нужно, конечно, чтобы объект как-то реагировал, злился ли, сгорал ли от стыда, данный же объект, то есть воссоединившаяся супружеская пара, был настолько далек от окружающего, что над ним и хохотать становилось неинтересно. Не исключено, впрочем, что у некоторых представителей охранной молодежи жалкая эта сцена тронула какие-то струны в душе, смутно напомнила о непрерывной и непреходящей российской тюремной беде. Во всяком случае, все пошло по своим делам, а двое дневальных спокойно, без всяких подгребков спустили с борта на причал основное Цилино добро – два ковровых чемодана от прежних папашиних времен и ящик с классиками марксизма.

Они никак не могли сдвинуться с места. Вдохновенно сияя очами и положив руки на плечи Кирилла, Цецилия вещала, будто со сцены:

– Кирилл, мой любимый, если бы ты знал, сколько мук я перенесла за эти двенадцать лет! Если тебе что-нибудь передавали, не верь! Я была тебе верна! Всех мужчин отвергала, всех! А их было немало, Кирилл, знаешь ли, их было немало!

Кирилл все еще не мог прийти в себя.

– Что ты говоришь, Циленька, что ты говоришь, я не понимаю. Как ты оказалась здесь, на этом... на «Феликсе Дзержинском»?

Она победоносно рассмеялась. Все оказалось не так сложно. Она приехала по путевке Политпросвета, каково? Меня зачислят здесь в штат вечернего университета марксизма-ленинизма, вот так, мой дорогой! Смелость города берет, вот так! Она пошла к самому Никифорову в сектор ЦК, и он после долгого разговора дал добро. Нет-нет, ничего такого, о чем ты думаешь, между нами не было, если не считать, ну, нескольких красноречивых взглядов с его стороны. Ну, все же он понял, что она не из этого числа, проявил настоящий партийный подход к серьезному делу.

Самое ужасное было здесь, на Дальнем Востоке. Ты знаешь, все здесь так бурно растет, повсюду новое строительство, потоки молодежи, неподдельный энтузиазм, транспортные линии перегружены. Она неделю моталась в Находке, пытаясь заполучить билет на какой-нибудь дальневосточный пароход, все бесполезно. Потом ей сказали, что из Ванина на Магадан идет «Феликс Дзержинский», и она тут же понеслась в это Ванино. Там с ней никто разговаривать не хотел, и тогда она вдруг выскочила прямо на капитана. На что я могла рассчитывать, кроме женского обаяния? Ни на что! И вот результат: она плывет на «Феликсе» и капитан, такой суровый морской джентльмен, приглашает ее на обед в кают-компанию. Нет, разумеется, я все поставила в свои рамки, и наши отношения ни разу не вышли за пределы...

Цецилия то бормотала, то выкрикивала весь этот вздор, ничего не замечая вокруг, а только сияя глазами на своего любимого «мальчика». Она, похоже, даже не замечала существенных изменений во внешности «своего мальчика». Читатели первых двух томов нашей саги, разумеется, заметили, что Цецилия Розенблюм принадлежала к сравнительно небольшому числу людей, что не замечают деталей, живя в мире только основных идей.

Между тем до Кирилла начинала из-за совсем недалекого проволочного забора доноситься его собственная фамилия в сопровождении крепких междометий: «Градов, ебенать! Где этот Градов ебанный болтается? Куда, на хуй, Градов блядский испарился?»

Нет, невозможно больше находиться среди этих вохровских скотов и придурков, вдруг подумал Кирилл так, как будто ему уже давно была неважно работа в санпропускнике. Теперь, когда жена приехала, я не могу здесь больше оставаться. Бог даст, устроюсь истопником в среднюю школу или в Дом культуры, да хоть и в любую другую котельную.

Мимо шествовал редкий прохвост, сменщик Кирилла Филипп Булкин. Хоть ему и нечего сегодня было делать в порту, он, конечно, не мог упустить прибытия парохода и этапа в надежде чем-нибудь поживиться. Кирилл пообещал Филиппу бутылку ректификата за подмену.

– Вот, видишь, жена приехала, – сказал он. – Не виделись двенадцать лет.

– Интересная у тебя жена, – сказал Булкин, быстрым взором оглядывая Цецилин разношерстный туалет, а также, с особенным вниманием, разваленный вокруг багаж, Филипп Булкин, похоже, принадлежал к числу людей, что как раз сосредоточиваются на деталях, не замечая основной идеи. – Скажи, а не привезла ли она с собой патефонных иголок?

С удивлением узнав, что градовская жена не привезла с собой этого дефицита, что шел на Колыме по рублю за крошечную штучку, он отправился на подмену. Это было ему, конечно, на руку.

Порыскав в портовых джунглях, Кирилл отыскал какую-то бесхозную тачку и погрузил на нее добро Цецилии. Одна из туго набитых сеток оказалась в поле зрения «пассажирки», и она вдруг бросилась на нее, как на приготовленную к обеду курицу. Газетные обертки каких-то кулчков разлетались, словно пух курицы, попавшей в ошип.

– Смотри, что я тебе привезла, Кирюша, московские сладости! Ты, наверное, соскучился по московским сладостям!

Все эти «московские сладости» за время ее двухнедельного путешествия порядком утрамбовались, замаслились, расплылись или окаменели в зависимости от консистенции. Тем не менее она все терзала кулчки, отламывала кусочки и запихивала их в рот Кириллу:

– Вот курабье, вот грильяж, вот тебе ойла союзная, фйнкухен, струдель, эйер-кухелах, такая вкуснятина, ведь ты же это все так когда-то любил, Градов!

Он посмотрел на нее с нежностью. Этими сладкими и действительно немисливо вкусными, хоть и малость заплесневевшими, кусочками, равно как и внезапно выплывшим из памяти партийным обращением «Градов», его нелепая жена пытается, очевидно, ему сказать, что все исправимо в этом лучшем из материалистических миров.

Они шли к воротам порта. Рот его был забит огромной смешанной слятью.

– Спасибо, Розенблум, – промычал он, и они оба прыснули.

У ворот пришлось притормозить. Проходила первая мужская колонна нового этапа. Все свое имущество эки несли теперь вынутым из мешков, в охапках, направляясь на прожарку вшей.

– Кто эти люди? – изумленно спросила Цецилия.

Еще более изумленный Кирилл заставил себя разом проглотить сладкий комок.

– Как кто, Розенблум? Ведь ты же с ними вместе приехала!

– Позволь, Градов, как это я с ними вместе приехала? Я приехала на теплоходе «Феликс Дзержинский»!

– Они тоже на нем, Розенблум.

– Я никого из них там не видела.

– Ну да, но разве ты не знала... разве ты не знала, что... кого сюда перевозит «Феликс», эта птица счастья?

– Ну что ты болтаешь, Градов?! – воскликнула она. – Это такой прекрасный, чистый корабль! У меня была крохотная, но идеальная каютка. Душ в коридоре, чистое белье...

– У нас тут этот корабль называют эковозом, – сказал Кирилл, глядя в землю, что было нетрудно, поскольку они шли в гору, а тачка была тяжела.

– Что это за жаргон, Градов? – строго спросила она и потом зачастила, ласково теребя его загривок, пощипывая щеку: – Перестань, перестань, Градов, милый, дорогой мой и ненаглядный, не нужно, не нужно преувеличивать, делать обобщения...

Он приостановился на секунду и твердо сказал:

– Этот пароход перевозит заключенных. – В конце концов, должна же она знать положение вещей. Ведь нельзя же жить в Магадане и не знать магаданскую норму.

Короткая эта размолвка пронеслась, не омрачив их встречи. Они шли в гору по разбитой, еле присыпанной щебнем дороге, толкая перед собой ее пожитки, словно Гензель и Гретель, сияя друг на друга. Между тем уже темнело, кое-где среди жалких избушек и перекосившихся насыпных, почему-то в основном грязно-розового цвета бараков поселка Нагаево зажигались огоньки. Цецилия начала наконец замечать окружающую действительность.

– Вот это и есть Магадан? – с искусственной бодростью спросила она. – А где мы будем ночевать?

– У меня тут отдельная комната, – он не смог удержаться от гордости, произнося эту фразу.

– О, вот это да! – вскричала она. – Обещаю тебе жаркую ночь, дорогой Градов!

– Увы, я этого тебе обещать не могу, Розенблум, – виновато поежился он и подумал: если бы от нее, от миленькой моей старушки, хотя бы не пахло этими котлетами с луком.

– Увидишь, увидишь, я разбужу в тебе зверя! – Она шутливо оскалилась и потрясла головой. Рот, то есть зубы, были в плачевном состоянии.

Они прошли вверх еще несколько минут и остановились на верхушке холма. Отсюда открывался вид на лежащий в широкой ложбине между сопок город Магадан, две его широкие пересекающиеся улицы, проспект Сталина и Колымское шоссе, с рядами каменных пятиэтажных домов и скоплениями мелких строений.

– Вот это Магадан, – сказал Кирилл.

На проспекте Сталина в этот момент зажглись городские фонари. Солнце перед окончательной посадкой за сопками вдруг бросило из туч несколько лучей на окна больших домов, в которых жили семьи дальстроевского и лагерного начальства. В этот момент город показался с холма воплощением благополучия и комфорта.

– Хорош! – с удивлением сказала Цецилия, и Кирилл вдруг впервые почувствовал некоторую гордость за этот городок-на-косточках, за этот сгусток позора и тоски.

– Это город Магадан, а там, откуда мы пришли, был только лишь поселок Нагаево, – пояснил он.

Мимо них, сильно рыча на низкой передаче и сияя заокеанскими фарами, прошел легковой автомобиль. На руле лежали перчатки тонкой кожи с пятью круглыми дырками над костяшками пальцев. В суровой безмятежности проплыл мимо английский нос капитана.

Чем дальше они шли, тем больше отклонялись в сторону от фешенебельного Магадана, тем страшнее для Цецилии Розенблум становились дебри преступного поселения: перекошенные стены бараков, подпорки сторожевых вышек, колючая проволока, помойки, ручьи каких-то кошмарных сливов, клубы пара из котельных. Временами вдруг возникало нечто ободряющее, связывающее хоть отчасти с животворной современностью: то вдруг детская площадка с фигурой советского воина, то вдруг лозунг: «Позор поджигателям войны!», то портрет Сталина над воротами базы стройматериалов. Однако Кирилл все толкал тачку, и они оставляли за спиной и эти редкие бакены социализма и углублялись в сплошной бурелом послелагерной эковской жизни. Тут еще ни с того ни с сего из черного неба мгновенно, без всякой раскачки понеслись снежные вихри.

– Вот так тут всегда, – пояснил Кирилл. – Внезапно начинается первый буран. Но мы уже пришли.

Под бешено пляшущим фонарем видна была низкая розовая, постносахарная стена с кустистой трещиной, из которой вываливался всякий хлам. Прямо в дверь бил снежный вихрь. Кирилл не без труда ее оттянул, стал втаскивать вещи.

Пол длинного коридора, в котором оказалась Цецилия, казалось, пережил серьезное землетрясение. Кое-где доски выгибались горбом, в других местах проваливались или торчали в стороны. В конце коридора были так называемые места общего пользования. Оттуда неся смешанный аромат испражнений, хлорки, пережаренного жира нерпы. Не менее трех десятков дверей тянулись вдоль стен, изогнутых и выпученных уже на свой собственный манер. Из-за дверей несло множество звуков в спектре от робкого попердывания до дивного голоса певицы Пантофель-Нечецкой, исполнявшей по первой программе Всесоюзного радио арию из оперы «Наталка-Полтавка». Откуда-то со странной монотонностью исходила угроза: «Откушу!» Мужской ли это был голос, женский ли, не понять. Заунывно и зловеще голос злоупотреблял двумя первыми гласными неприятного слова, на третьей же гласной всякий раз совершенно одинаково взвизгивал, так что получалось нечто вроде «О-о-откуу-у-ушуй!».

В середине коридора лежало неподвижное тело, о которое Цецилия, разумеется, споткнулась.

– Ну тут, как понимаешь, не Москва, – смущенно произнес Кирилл, снял висячий замок и открыл фанерную дверь в свою «отдельную комнату». Висящая на длинном, впрочем, укороченном несколькими узлами шнуре «лампочка Ильича» осветила пять квадратных метров пространства, в котором едва помещались топчан, покрытый лоскутным одеялом, этажерочка с книгами, маленький стол, два стула и ведро.

Ну вот, садись. Куда? Вот сюда. Ну, вот я села, а теперь ложусь, гаши свет! Ну разве ж сразу, Розенблюм? Я двенадцать лет этого ждала, Градов! Всех ухажеров отгоняла, а сколько их было! Да я ведь, Циленька, что называется, совсем... Нет-нет, такого не бывает, чтобы совсем... вот, бери и жми, и жми, и сам не заметишь, как... ну вот, ну вот, вот вам и Кирилльчик, вот вам и Кирилльчик, вот вам и Кирилльчик...

Хорошо хоть темно, думал Кирилл, все же не видно, с какой старухой совокупаюсь. Вдруг он увидел в полосе мутного света, идущего из крохотного окна, лежащую на столе авоську с Марксом. Закругленные черты основателя научного коммунизма были обращены к потолку завального барака. Присутствие основоположника почему-то придало Кириллу жару. Запах пережеванной котлеты испарился. Погасли все звуки по всему спектру, включая монотонное «откушу». Синеблузочка, комсомолочка 1930-го, великого перелома, огромного перегиба; электрификация, смык, тренаж! Цецилия торжествующе завизжала. Бедная моя девочка, что случилось с тобой!

В тишине, последовавшей за этой патетической сценой, кто-то крикнул так близко, как будто лежал на той же подушке.

– Кирюха-то, чих-пых, бабенку приволок, – сказал ленивый голос.

– Да неужто Кирилл Борисыч шалашовку себе обеспечил? – удивился бабий голос.

– А то ты не слыхала, дура, – пробасил, поворачиваясь, ленивый. Стенка при его повороте прошла ходуном, в ногах сквозь отслоившуюся фанеру видна была черная пятка обитателя соседней «отдельной комнаты».

– Жена приехала с «материка», Пахомыч, – негромко сказал Кирилл. – Законная супруга Цецилия Наумовна Розенблюм.

– Поздравляю, Борисыч, – сказал Пахомыч. Он явно лежал теперь спиной к стене. – А вас с приездом, Цилия Розенблюмовна.

– Я тебе обещаю, что у нас скоро будет настоящая отдельная комната, – прошептала Цецилия Кириллу прямо в ухо.

Шепот ее щекоткой прошел через ухо прямо в нос. Кирилл чихнул.

– Хочешь спирту? – спросил Пахомыч.

– Завтра выпьем, – ответил Кирилл.

– Обязательно, – вздохнул Пахомыч.

Кирилл пояснил в розенблюмовское молодое ухо:

– Он как раз из нашей с тобой Тамбовщины. Добрейший мужик. Сидел за вооруженный мятеж...

– Что за глупые шутки, Градов, – усталой баядеркой отмахнулась Цецилия.

Надо, однако, раскладываться. Кирилл взялся распаковывать багаж, стараясь увилить от прямых взглядов на копошащуюся рядом старуху. Да вовсе и не старуха же она. Ведь на три года младше меня, всего лишь сорок четыре. Сорок лет – бабий цвет, сорок пять – ягодка опять. Глядишь, и помолодеет Розенблум.

– А это еще что тут такое у тебя, Градов?! – вдруг воскликнула Цецилия. Подбоченившись, она стояла перед этажерочкой, на верхушке которой располагался маленький алтарь-триптих, образы Спасителя, Девы Марии и святого Франциска с лесной козочкой под рукой. Эти лагерные, сусуманской работы образа подарил Кириллу перед разлукой медбрат Стасис, которому еще оставалось досиживать три года.

– А это, Циля, самые дорогие для меня вещи, – тихо сказал он. – Ты еще не знаешь, что в заключении я стал христианином.

Он ожидал взрыва, воспламенения, неистового излияния марксистской веры, однако вместо этого услышал только странное кудактанье. Бог мой, Розенблум плачет! Будто вслепую протягивает руку, опускает ему на голову, как Франциск Ассизский на брата-волка, шепчет:

– Бедный мой, бедный мой мальчик, что с тобой случилось... Ну, ничего, – встряхнулась тут она. – Это у тебя пройдет!

Бодрыми движениями рассупонила Маркса, водрузила его на этажерку рядом с образами. Вот теперь уж и посмотрим, кто победит! Оба облегченно рассмеялись.

Ну разве ж не идиллия? Кипит московский электрический чайник. Распечатана пачка «грузинского, высший сорт». Комки слипшихся сладостей разбросаны по столу. Посвистывает первая метель осени сорок девятого года. Затихает завальный барак, только откуда-то еще доносится голос Сергея Лемешева: «Паду ли я, стрелой пронзенный», да гребутся по соседству увлеченные примером Пахомыч со своей бабой Мордехой Бочковой. Цецилия же извлекает большую фотографию девятнадцатилетней давности. На веранде в Серебряном Бору после их свадебного обеда. Все в сборе: Бо, и Мэри, и Пулково, и Агаша, и восьмилетний их кулачок-волчонок Митя, и Нинка с Саввой, и четырехлетний Борька IV, и хохочущий пуще всех молодой комдив, и неотразимая, белое платье с огромными цветами на плечах, Вероника, ах, Вероника...

– Эта сволочь, – вдруг прошипела Цецилия. – Тебя могли освободить еще в сорок пятом, освободить и реабилитировать как брата маршала Градова, всенародного героя, а эта сволочь, проститутка, спуталась с американцем, со шпионом, удрала в Америку, даже не дождавшись известий о сыне! Не говори мне ничего, она – сука и сволочь!..

– Не надо, не надо, Циленька, – бормотал он, поглаживая ее по голове. – Ведь мы же все тогда друг друга любили, посмотри, как мы все влюблены друг в друга и как мы счастливы. Этот миг был, вот доказательство, он никуда не улетел, он всегда вместе с нами существует...

Когда она злится, лицо, нос и губы вытягиваются у нее, как у какой-то смешной крысинды. Но вот лицо разглаживается, кажется, уже перестала злиться на Веронику...

– Ты говоришь, мы все любили друг друга, а я никого из них вокруг просто не видела, только тебя...

Глава II

Бьет с носка!

От колымского убожества, дорогой читатель, столь верно идущий за нами уже несколько сотен страниц, заграничное мое перо, купленное на углу за один доллар и семь копеек и снабженное побоку загадочной надписью «Papergrip Flexgrip Rollen – Micro», уведет вас в огромный город, склонный на протяжении веков очень быстро впадать в полнейшую мизерность и затрапезность и со столь же удивительной быстротой выказывать свою вечную склонность к обжорству, блюду и странной какой-то, всегда почти фиктивной, но в то же время и весомой роскоши. Итак, мы в городе, давшем название всему этому трехступенчатому сочинению, в Москве, н. д. и у. ч., то есть наш дорогой и уважаемый читатель.

По-прежнему на общих кухнях коммунальных квартир хозяйки швыряли друг в дружку кастрюли со щами, а молодожены спали на раскладушках под столом в одной комнате с тремя поколениями осточертевшей семьи. По-прежнему на покупку гнусных скороходовских ботинок уходило ползарплаты, а шитье зимнего пальто было равносильно постройке дредноута. По-прежнему очереди в баню занимались с утра, а посадка в автобус напоминала матч вольной борьбы. По-прежнему вокруг вокзалов валялись пьяные инвалиды Великой Отечественной, а в поездах слепые и псевдослепые пели жестокий и бесконечный романс «Я был батальонный разведчик». По-прежнему содрогался обыватель при виде ночных «воронков», и по-прежнему все остерегались открывать двери на кошачье мяуканье, дабы не впустить банду «Черная кошка», во главе которой стоял, по слухам, могучий и таинственный бандит Полтора-Ивана.

Голод, впрочем, кончился. Собственно говоря, в Москве он на самом деле никогда и не начинался. Худо-бедно, но снабжение столичного населения по карточкам во время войны осуществлялось, ну а после денежной реформы сорок седьмого и отмены карточной системы в хлебных магазинах появились батоны, крендели, халы, французские булочки (через два года, впрочем, переименованные в городские, дабы не распространять космополитическую заразу), сайки, баранки, сушки, плюшки, всевозможные сдобы, затем по крайней мере полдюжины названий ржаных изделий – бородинский, московский, обдирный... в кондитерских же отделах среди щедрой россыпи конфет воздвиглись кремовые фортификации, подкрепленные серьезными, в каре и в овалах, формациями шоколадных наборов, в гастрономах же в отделе сыров можно было теперь увидеть не только жаждущих пожрать, но и знатоков, ну, какого-нибудь грузного москвитянина с налетом прошлого на мясистом лице, который благодушно объясняет более простодушной соседке: «Хороший сыр, голубушка моя, портяночкой должен пахнуть...»

Да и мясная гастрономия, хо-хо, не плошала, ветчины и карбонады радовали глаз своим соседством с сырокопчеными рулетами, разнокалиберными колбасами, вплоть до изысканных срезов, обнажавших сушую мозаику вкуснейших элементов начинки. Сосиски, те свисали с кафельных стен какими-то тропическими гирляндами. Сельди разной жирности полоскались в судках, чертя над головами покупателей невидимые, но ощутимые траектории к отделу крепких напитков. Ну а там представал глазу патриота сущий парад гвардейских частей, от бутылочных расхожих водок до штофных ликеров. Икра всегда была в наличии, в эмалированных судках она смущала простой народ, веселила лауреатов Сталинских премий. Крабы в банках были повсюду и доступны по цене, но их никто не брал, несмотря на потрескивающую в ночи неоновую рекламу. То же самое можно было сказать и про печень трески, и это может подтвердить любой человек, чья юность прошла под статичным и вечным полыханием сталинской стабилизации: «Печень трески! Вкусно! Питательно!»

У простого народа были свои радости: «микояновские» котлеты по шесть копеек, студень, что повсюду стоял в противнях и продавался за цену почти символическую, то есть максимально приближенную к коммунизму.

Живы еще были кое-где знаменитые московские пивные в сводчатых подвалах. Вот спускаешься, например, в «Есенинскую», что под Лубянским пассажем. Товарищ половой тут же, не спрашивая, ставит перед тобой тарелочку с обязательной закуской: подсоленные сухарики, моченый горошек, ломтик ветчинки или косточка грудинки; о, русские ласкательные, едальные уменьшительные! А пивко-то, пивко! И бочковое, и бутылочное к вашим услугам! «Жигулевское», «Останкинское», «Московское» в поллитровках, «Двойное золотое» в маленьких витых сосудах темного стекла!

Откуда же оно взялось – и довольно скоро после военной разрухи, – это сталинское гастрономическое изобилие? Впоследствии нам объяснят, что возникло оно в городах за счет ограбления села, и мы с этим согласимся, хотя и позволим себе предположить, что объяснение не покрывает всей проблемы.

Порядок был тогда, неизменно гаркнут нам в ответ ветераны вооруженной охраны. Воровства не было! И в этом тоже содержится истина или, скажем так, часть истины. В самом деле, народ наш российский доведен был Чекой до такой кондиции, что уж и воровать боялся. За мешочек колосков со вспаханного поля, за полусгнившую, никому не нужную картошку отправляли «по указу» на десять лет кайлить вечную мерзлоту. Не важно было, что ты взял, колбасы вязку или золотишка на сто тыщ, все получали «за расхищение социалистической собственности» жутчайшие каторжные сроки, а то и вышку могли схлопотать, если дело отягощалось какими-нибудь обстоятельствами. В лагеря отправлялись и те недотепы, что опаздывали на работу, то есть совершали проступок, близкий к саботажу великой реконструкции. В общем, трудно отрицать: порядок был.

И все-таки для того, чтобы полностью объяснить грандиознейшую стабилизацию и распространение могущества, возникшие к концу сороковых и распространившиеся на первую половину пятидесятых годов, нам придется скакнуть с накатанных рельс реализма в трясину метафизики. Не кажется ли нам, елки-палки, что дело все в том, что к тому времени организм социализма, который мы теперь в связи с недавними событиями не можем не сравнить с простым человеческим организмом, хотя бы по продолжительности жизни, что к тому времени этот организм социализма просто-напросто достиг своего пика, не кажется ли нам? То есть в том смысле, что... вот именно в том смысле, что социализм, если его рассматривать как некое биотело, а почему бы нам не рассматривать его как тело, достиг вершины своего развития и вот именно потому-то и работал тогда некоторое время без сбоев.

И впрямь ему было в те времена слегка за тридцать, расцвет каждого отдельно взятого тела. Предельно развитая суть всякого тела и данного тела, то есть социализма, в частности. Наконец-то было достигнуто сбалансированное совершенство общества: двадцать пять миллионов в лагерях, десять миллионов в армии, столько же в гэбэ и системе охраны. Остальная часть дееспособного населения занята самоотверженным трудом; состояние умов и рефлекторных систем великолепное. Произошло максимальное и, как впоследствии выяснилось, окончательное геополитическое расширение. Возникший под боком, как гирлянда надувных мешков, социалистический лагерь старательно подравнивался к метрополии, чистил ячейки. К моменту начала нашего третьего тома, то есть к осени 1949 года, прошли уже в каждой «стране народной демократии» свои большие чистки. Одна лишь банда бывших друзей умудрилась увернуться от сталинских объятий, «банда Иосипа Броз Тито с его гнусными сатрапами, банда американских шпионов, убийц и предателей дела социализма». Ненависть, обращенная к Югославии, была так горяча, что безусловно свидетельствовала не только о желчном пузыре стареющего паханка, но и об активности, то есть совершенстве, социалистических процессов. Разоблачение предателей не затихало ни на минуту ни в прессе, ни на радио, ни в официальных заявле-

ниях. Кукрыниксы и Борис Ефимов соревновались в похабнейших карикатурах. То изобразят строптивного маршала в виде толстожопой бульдожицы на поводке у долговязого «дяди Сэма» – с когтей, конечно, капает кровь патриотов, то в виде расплывшегося в подхалимском наслаждении пуфа, на котором все тот же наглый «дядя Сэм» развалился своей костлявой задницей. Постоянно делались намеки на толстые ляжки вождя югославских коммунистов и на нечто бабье в очертаниях его нехорошего лица. В каких только преступлениях и злостных замыслах не обвинялся этот человек, однако один, может быть, самый гнусный замысел никогда не упоминался. Дело в том, что у вождя южных славян была тенденция не только к отколу от лагеря мира и социализма, но и к слиянию с оным. Еще в сорок шестом «клика Тито» предложила Сталину полный вход Югославии в СССР на правах федерации союзных республик, ну и, разумеется, вход всей «клики» в Кремль на правах членов Политбюро. Сталин тогда струхнул больше, чем в сорок первом. Явится «верный друг СССР» в Кремль со своими гайдуками, а ночью передушит всех одновременно в кабинетах и спальнях. Вот в чем причина упорства – хочет, мерзавец, стать вождем не только южных, но и вообще всех славян. Любопытно, что этот, в общем-то, самый страшный заговор против прогресса никогда не упоминался в советской печати. Слишком уж кощунственной казалась сама идея посягательства на великого отца народов и его главное детище – Советский Союз.

Вообще, не так много преступлений упоминалось конкретно, особенно когда речь шла о клевете на Советский Союз. Вот, например, Юрий Жуков, один из лучших, можно сказать, бойцов пера, пишет из Парижа о взрыве клеветы в империалистической прессе, а в чем суть клеветы, никогда не сообщает, просто «гнусная клевета, исполненная зоологической ненависти к оплоту мира и прогресса». В этом неназывании, неупоминании тоже проявлялась вершина социализма, его полный расцвет, ибо новому советскому человеку вовсе и не нужны были детали для того, чтобы преисполниться благородным гневом.

И все главные советские писатели, особенно международно нацеленные на борьбу за мир, такие как Фадеев, Полевой, Симонов, Тихонов, Турсунзаде, Грибачев, Софронов, Эренбург, Сурков, очень хорошо знали, что не нужно ничего уточнять, говоря о злобной клевете. Вообще, с писателями в те времена было фактически достигнуто партией предельное взаимопонимание. Литературная общественность решительно отвергла как космополитический декаданс, так и высосанный из пальца конфликт внутри советского общества. Спустя некоторое время неразумные выбросили «бесконфликтность» как извращение, а ведь и в ней тоже выражалась молодая зрелость, полный апофеоз социалистического тела.

У каждого зрелого тела все должно быть хорошо внутри, однако извне у него обязательно должен быть сильный враг. Этот враг был и у нас, да не какая-нибудь Югославия, а самый гнусный, самый коварный, ну и, конечно, самый обреченный – Америка! Все другие враги, даже Англия, были менее гнусными, менее коварными и даже менее обреченными, потому что были слабее Америки. Вот и в этом противостоянии с Америкой наше социалистическое тело достигло тогда значительных успехов. Во-первых, разрушило ее атомную монополию; во-вторых, выставило нерушимый заслон в Германии в виде республики рабочих и крестьян; в-третьих, мощно атаковало американских сатрапов в Корее – «Но время движется скорее, / И по изрытой целине / Танкисты Северной Кореи / Несут свободу на броне...» (С. Смирнов); в-четвертых, путем развернутого движения за мир укоротило руки реакции в Западной Европе; в-пятых, у себя дома окончательно и бесповоротно покончило с тлетворными атлантическими влияниями.

И вот перед нами распростертый через эти славные годы лежит огромный, воспетый сатанинскими хорами, но все-таки на удивление все еще живой, жрущий и плюющий, бегущий, марширующий и пьяно вихляющийся город, и мы смотрим на него глазами шестнадцатилетнего выюноши, явившегося на Сretenский бульвар из татарского захолустья, и глазами двадцатитрехлетнего мужчины, вернувшегося на улицу Горького из польских лесов.

Куда девались инвалиды Великой Отечественной войны? В один прекрасный день вдруг исчезли все, о ком ходила в народе столь милая шутка: «Без рук, без ног, на бабу – скок!» Администрация позаботилась: на прекрасных улицах столицы и в мраморных залах метро нечего делать усеченному народу. Так мгновенно, так потрясающе стопроцентно выполнялись в те годы решения администрации! Инвалиды могут прекрасно дожить свой век в местах, не имеющих столь высокого символического значения для советского народа и всего прогрессивного человечества. Особенно это касалось тех, что укоротились наполовину и передвигались на притороченных к обезноженному телу платформочках с шарикоподшипниками. Эти укороченные товарищи имели склонность к черному пьянству, выкрикиванию диких слов, валяню на боку колесиками в сторону и отнюдь не способствовали распространению оптимизма.

Пьянство, вообще-то, не особенно возбранялось – если ему предавались здоровые, концентрированные люди в свободное от работы или отпускное время. Напитки были хорошего качества и имелись повсюду, вплоть до простых столовых. Даже глубокой ночью в Охотном Ряду можно было набрать и водок, и вин, и закусок в сверкающем чистотою дежурном гастронOME. К началу пятидесятых годов полностью возродились огромные московские рестораны, и все они бывали открыты до четырех часов утра. Во многих играли великолепные оркестры. Борьба с западной музыкой после полуночи ослабевала, и под шикарными дореволюционными люстрами звучали волнующие каскады «Гольфстрима» и «Каравана». В большом ходу были так называемые световые эффекты, когда гасили весь верхний свет и только лишь несколько разноцветных прожекторов пускали лучи под потолок, где вращался многогранный стеклянный шар. Под бликами, летящими с этого шара, танцевали уцелевшая фронтовая молодежь и подрастающее поколение. В такие моменты всем танцорам казалось, что очарование жизни будет только нарастать и никогда не обернется гнусным безденежным похмельем.

Процветал корпус московских швейцаров, широкогрудых и толстопузых, с окладистыми бородами, в лампах и с галунами. Далеко не все из них были рвачами и гадами, некоторые горделиво несли традицию, удовлетворенно подмечая эстетический поворот в сторону имперских ценностей. Особенно нравилось швейцарам введение формы в различных слоях населения: черные мундиры горняков и железнодорожников, серые, с бархатными нашивками пиджаки юристов различных классов... По мере увеличения успехов легкой промышленности вся страна, разумеется, будет одета в форму, и тогда легче будет угадывать клиентуру.

Пока что есть, конечно, отдельная анархия. Московские парни, например, любят ходить с поднятыми воротниками и в резко сдвинутых набок восьмиклинках из ткани букле. Модники особенно дорожат длинными клеенчатыми плащами, поступающими из Германии в счет репараций. Чрезвычайно популярны чехословацкие вельветовые курточки с молнией и кокеткой, а также отечественного производства маленькие чемоданчики с закругленными краями. Вот вам портрет молодого москвитянина 1948–1949 годов: кепка-букле, курточка с молнией, клеенчатый плащ, в руке чемоданчик. Детали в виде носа, глаз и подбородка дописывайте сами.

Идеалом тогдашней молодежи был Спортсмен. Довоенное слово «физкультурник» употреблялось лишь в насмешку, как показатель непрофессиональности. Высококласный носитель слова «спортсмен» был профессионалом или полупрофессионалом, хотя в Стране Советов профессионального спорта в отличие от растленного Запада не существовало. Спортсмен получал от государства стипендию, точные размеры которой никто не знал, поскольку она шла под грифом «совершенно секретно». В крайнем случае, если Спортсмен до стипендии еще недотянул, он должен был получать талоны на спецпитание. Спортсмен был нетороплив и неболтлив, среди публики цедил слова, передвигался с некоторой томностью, скрывающей колоссальную взрывную силу. Из репарационных клеенок настоящий Спортсмен, конечно, вырос. Являл обществу струящийся серебристый габардин или богатую пилотскую кожу. Кепарь-

букле, однако, на башке задерживался, иногда даже с подрезанным козырьком, как память о хулиганской мальчиковости.

Из всех спортсменов главными героями были футболисты команд мастеров, особенно ЦДКА и новоиспеченного клуба ВВС, опекуном которого был генерал-лейтенант авиации Василий Иосифович Сталин. Большой популярностью пользовались игроки нового послевоенного вида спорта, который сначала назывался канадским хоккеем, а потом в ходе антикосмополитической кампании был переименован в хоккей с шайбой. Очень часто хоккеистами оказывались те же самые футболисты. Зимой, когда поля затягивались льдом, «мастера кожаного мяча» обувались в железо, на голову же водружали «велосипедки» с продольными, «вдоль по черепку», дутыми обручами или даже шлемы танкистов; и-и-и, пошла писать губерния: свистит шайба, скрежесут коньки, сшибаются, исторгая из печенок матерок, сильные офицерские тела.

Самым, конечно, любимым был лейтенант Сева Бобров, который на футболе мог метров с двадцати, перевернувшись через себя, «вбить дулю в девяточку», ну а на хоккее, заложив неповторимый вираж за воротами, вlepлял шайбу вратарю прямо «под очко». Да и внешностью молодой человек обладал располагающей: бритый затылок, чубчик на лбу, квадратная, наша русская, ряшка, застенчиво-нахальная улыбочка – Сева такой.

Хоккейные побоища на «Динамо» в двадцатипятиградусный мороз. Клубы пара над могучей толпой, что твоя торфяная теплоэлектростанция. Опытные болельщики в тулупах поверх пальто, в карманах стеклоцех: «четвертинки» и «мерзавчики». Да и какой же русский не любит ледяных забав!

Катками вообще невероятно увлекалось население в Москве. В Казани, скажем, или в Варшаве такого не было. В вечерний час от метро «Парк культуры» к самому залитому льдом Парку культуры шли через Крымский мост толпы молодежи, несли свои «норвеги», «ножи», «снегурочки». Там, в ледяных аллеях, под электрическими арками, назначались свидания, шло скользкое ухаживание, проливалась и кровянка. «Догоню, догоню, ты теперь не уйдешь от меня!» – разносился из репродукторов тоненький, девчачий голос популярной певицы.

Популярен был и баскетбол, однако не в столь широких кругах. Старшие школьники и студенты особенно увлекались этой американской игрой, которую так и не умудрились переименовать на патристический манер в «корзиномяч». Казанский провинциал, что сам недавно начал играть и уже умел передвигаться с мячом и бросать из затыжного прыжка, совершенно обалдел от размаха баскетбольной жизни столицы. Одни прибалты чего стоят! Команда Эстонии, настоящие европейские атлеты, выходила на площадку в кожаных наколенниках, тщательно набриолиненные волосы разделены на пробор, все улыбаются, расшаркиваются перед судьями, никакого мата, хрипа, плевков, выигрывают, как хорошо сказано было в газете, «с легкостью и изяществом». Или литовские гиганты, крутящие так называемую «восьмерку» перед ошеломленными игроками Киргизии. Счет 115:15 в пользу больших людей малой страны.

Между тем идеал московской женщины тех дней был весьма далек от спортивных ристалищ. В этом идеале сочетались черты певицы Клавдии Шульженко и киноактрисы Валентины Серовой. Идеал прогуливался по Москве в туфлях-платформах с ремешками, переплетенными на щиколотке, и в белых войлочных «труакарах». Взгляд этого идеала обещал уцелевшим мужчинам и подрастающему поколению удивительное воплощение каких угодно романтических мечтаний. У нашего «поляка», весьма сдержанного в сложных условиях работы за рубежом, в Москве закружилась голова. Однажды на Сретенке он покупал свой «Дукат» (десяток сигарет в маленькой оранжевой пачечке), когда все мужики возле табачного киоска повернули головы в одном направлении. Среди кургузых «эмок» и трофейных лягушек «БМВ» мимо скользил огромный зеленый открытый «линкольн», и в нем на заднем сиденье мечтательная белокурая головка. «Серову в Кремль ебать повезли», – похмельным басом пояснил кто-то из курящих. Была ли это Серова, и в Кремль ли ее везли, и действительно ли для патристической миссии,

никому не ведомо, однако наш «поляк» долго еще выискивал среди московской транспортной шелупени зеленый «линкольн», всерьез собираясь в следующий раз прыгнуть на его подножку и вырвать у «мечты» номер телефончика. Так никогда больше не увидел и вообще усомнился в реальности того момента на Сретенке у табачного киоска; не во сне ли привиделось, а потом уже в ложных воспоминаниях переселилось на Сретенку?

В сценке этой наблюдался еще один любопытный момент – эдакое небрежное, запросто, упоминание Кремля в контексте московского блядства. Похмельный хмырь, конечно, не представлял большинства населения, а только лишь разрозненный, растрепанный московский «мужской клуб», однако клуб этот был еще до конца не добит, в нем еще играли на бильярде, делали ставки на бегах, дули водку и пиво под сардельки с кислой капустой или, напротив, на крахмальных скатертях «Националя» употребляли марочный коньяк под семгу, бардачили по «хатам».

Что касается Кремля, то как-то трудно было себе представить, что столь легкая и милая красавица направлялась в эту мрачную твердыню. Еще куда ни шло, если бы под покровом ночи, в «воронке», с кляпом во рту волокли красавицу на поругание... Ведь, по слухам, Он как раз по ночам там сидит, думает о судьбах мира и прогресса...

Проходя как-то в полночь по Софийской набережной, «варшавянин» не мог оторвать взгляда от Кремлевского холма. Рубиновые звезды отчетливо светились и как бы поворачивались под темным осенним ветром, все, что ниже башенных шатров, было недвижимо и ужасно. Вдруг появился и прополз некий огонь. Скорее всего, это была фара патрульного мотоцикла, и все-таки наш «варшавянин» содрогнулся: трудно было не подумать, что это глаз дракона прошел во мраке.

Кажется, никто не заметил, как содрогнулся опытный, выдавший всякое «варшавянин». Набережная была пуста, ни души, за исключением какого-то юнца, притулившегося в десяти шагах под аркой, но он, кажется, тоже не заметил, потому что и сам содрогнулся, когда по кремлевскому бугру прошел светящийся глаз.

Что за странный юнец, что он тут делает один, почему вперился взором в резиденцию главы государства? В Польше пришлось бы такого повернуть лицом к стене и обыскать...

– Спичек нет? – спросил «варшавянин».

– Я не курю, – ответил наш «казанец».

Чудак, усмехнулся первый, как будто я его спрашиваю, курит он или нет. Да ведь он меня не про курение спрашивает, а про спички, подумал второй и покраснел. Позор, краснею перед каким-то парнем. Чего это он покраснел, этот пацан?

Не холодно? Парень, конечно, имел в виду сомнительную одежду пацана. Ветер парусил сатиновую рубашку. Под ней, правда, что-то еще было надето, однако, что бы там ни было надето, все-таки слабовато для октябрьской ночи. Парень, естественно, не знал, что это «что-то еще» было скрытой мукой пацана. По каким-то непонятным причинам пацан считал, что рубашка у него как раз такая, в какой надлежит прогуливаться «юноше конца сороковых годов», а вот это «что-то еще» совсем, совсем «не из той оперы»: бабушкина фуфайка. Растянувшийся, неопределенного цвета утеплитель он надевал под рубашку и глубоко засовывал в штаны, чтобы не деформировалась фигура сзади. При ходьбе, однако, фуфайка собиралась комками на зад и на боках, лишая население столицы возможности любоваться безукоризненными юношескими формами. Была, конечно, еще и телогреечка, стеганый ловкий ватник, который мог бы решить эту проблему, однако в Москве, в отличие от Казани, ватники эти были явно не в ходу среди «юношей конца сороковых годов», а больше принадлежали дворницкому сословию. Вот почему пацан доходил до минусовой температуры в своей «хорошей» рубашке, под которой таилась нехорошая, постыдная фуфайка. Нет, спасибо, не холодно, ответил он незнакомому парню.

Они собрались было уже разойтись, но на секунду задержались, словно хотели запомнить друг друга. Парень в черном пальто с поднятым воротником – темно-рыжие волосы, светло-серые жесткие глаза – восхитил провинциального пацана. Вот оно, воплощение современной московской молодежи, такая уверенность в себе, наверняка мастер спорта, подумал пацан. Может, подарить свитер этому сопливному романтику, с усмешкой подумал парень. Из Польши он привез полдюжины толстых свитеров. Однако это будет как-то странно, дарить свитер незнакомому пацану.

Они разошлись. Пацан дошел до угла небрежной неторопливой походкой, боясь, что парень, обернувшись, может подумать, что ему холодно. На углу оглянулся. Парень садился в седло мотоцикла. Развевалась шевелюра. Он смирял ее извлеченной из багажника лыжной шапочкой. Если бы у меня был такой старший брат, вдруг подумал пацан, завернул за угол и тогда уже дунул во все лопатки, забыв о сомнительных подошвах, о которых, признаться, помнил всегда, помчался, спасаясь от ветра, а временами вдруг как бы сливаясь с ветром, как бы восторженно взлетая, к станции «Новокузнецкая», к теплым кишкам метрополитена.

Его старший брат погиб в Ленинграде во время блокады. Его отец сидел свой пятнадцатилетний срок в воркутинских лагерях. Его мать только что освободилась из колымских лагерей и осела в Магадане, то есть в том месте, откуда мы начали третий том нашей градовской саги. Считая себя, однако, представителем «молодежи конца сороковых годов», этот пацан думал не о тех миллионах своих сверстников, что числились там, где положено им было числиться, «детьми врагов народа», а о тех, кто играл в баскетбол, футбол и хоккей, проносился мимо на трофейных и отечественных мотоциклах, танцевал румбу и фокстрот, уверенно, ловко подкручивая своих партнерш, сногшибательных московских девчонок.

Москва, собственно говоря, была для этого пацана промежуточной остановкой на пути в Магадан. До этого он ни разу не выезжал из Казани, там воспарял юношеской душой к урбанистической романтике. Не замечая повсеместного убожества, озирали только закатные силуэты башен и крыш, засохшие фонтаны и перекошенные окна «прекрасной эпохи». И вдруг попал в большой мир, в кружение столичного обихода, вот он где, Город, какая уж там Казань, о которой певец Города Владимир Маяковский не нашел ничего лучшего сказать, как только: «Стара, коса, стоит Казань...»

Из Москвы он должен был лететь в Магадан вместе с маминой покровительницей, колымской вольной гражданкой, возвращающейся из отпуска. Покровительница в связи с семейными делами затягивала отъезд, а он пока что кружил по московским улицам, и в деловой толчее, и в ночной пустыне, в день по десять раз влюблялся в мелькающие мимо личики, кропал стишки на обрывках «Советского спорта»: «Ночная мгла без содроганий / Неслышно нанесла удар, / Упал за баррикадой зданий / Зари последний коммунары...», вообще вел себя так, как будто напрочь забыл, кто он такой, как будто никто не может украсть его молодость, как будто ему никогда не приходило в голову – ну, за исключением, может быть, того момента, когда по ночному Кремлю прополз драконий глаз, – что этот город до последнего кирпича пронизан жесткостью и ложью. А между тем Москва...

Глава III

Одинокий герой

От чего я точно пьяный бабьим летом, бабьим летом... – пел московский бард в шестидесятые годы. Бабьим летом сорок девятого, в начале октября, то же настроение охватывало двадцатитрехлетнего мотоциклиста, еще не знавшего этой песни, но уже как бы предчувствовавшего ее появление. Он кружил в вечерний час пик по запруженным улицам в районе Бульварного кольца на трофейном мотоцикле «цюндап», и закатное, начинающее принимать оттенок зрелой меди небо, открывающееся, скажем, при спуске со Сретенки, почему-то сильно волновало его, как будто обещало за ближайшим поворотом некую волшебную встречу, как будто оно открывалось не перед матерым диверсантом из польских лесов, а перед каким-нибудь наивным юношей-провинциалом. Все это дело, очевидно, связано с бабами, думал Борис IV Градов. Собственно говоря, он уже целый год был основательно влюблен во всех баб Москвы.

В это же время по Садовому кольцу, держась вблизи от тротуара, медленно ехал черный лимузин с пуленепробиваемыми стеклами. В нем на заднем диване сидели два мужика. Одному из них, генерал-майору Нугзару Ламадзе, было слегка за сорок, второму, маршалу Лаврентию Берии, заместителю председателя Совета министров, отвечающему за атомную энергию, и члену Политбюро ВКП(б), отвечающему за МГБ и МВД, было за пятьдесят. Последний тоже, можно сказать, был влюблен во всех баб Москвы, однако несколько иначе, чем наш мотоциклист. Чуть раздвинув кремовые шторы лимузина, маршал в щелку внедрял свое зоркое стеклянное око, следя за проходящим, большей частью очень озабоченным женским составом трудящихся столицы. От этого подглядывания его отяжелевшее тело принимало какой-то неестественный поворот, вывернувшийся голый затылок напоминал ляжку кентавра. Левая рука маршала поигрывала в кармане брюк.

Совсем уже, свинья такая, меня не стесняется, тем временем думал Нугзар. Во что меня превратил, грязный шакал! Какой позор, второй человек великой державы и чем занимается!

Он делал вид, что не обращает внимания на своего шефа, держал на коленях папку с бумагами, сортировал срочные и те, что могут подождать. Рука маршала между тем вылезала из штанов, вытаскивала вслед за собою большой и местами сильно заскорузлый клетчатый платок, вытирала увлажнившуюся плешь и загривок.

– Ай-ай-ай, – бормотала голова. – Ну, посмотри, Нугзар, что нам предлагает новое поколение. О, московские девчонки, где на свете ты еще найдешь такие вишенки, такие яблочки, такие маленькие дыньки... Можно гордиться такой молодежью, как ты считаешь? А как она перепрыгивает через лужи, а?! Можно только вообразить себе, как она будет подпрыгивать... хм... Ну посмотри, Нугзар! Перестань притворяться, в конце концов!

Генерал-майор отложил папку, вздохнул с притворной укоризной, посмотрел на маршала, как на расшалившегося мальчугана; он знал, что тот любил такие взгляды с его стороны.

– Кто же так поразил твое воображение, Лаврентий?

В такие минуты возбранялось называть всесильного сатрапа по имени-отчеству, а уж тем более по чину: простое, дружеское «Лаврентий» напоминало добрые, старые времена, город-над-Курой, блаженные вакханалии.

– Она остановилась! – вскричал Берия. – Смотрит на часы! Ха-ха-ха, наверное, ёбаря поджидает! Стой, Шевчук! – приказал он своему шоферу, майору госбезопасности.

Тяжелый бронированный «паккард», наводящий ужас на всех постовых Москвы, остановился неподалеку от станции метро «Парк культуры».

Сзади подошел и встал к обочине ЗИС сопровождения. Берия извлек цейсовский бинокль, специально содержащийся в «паккарде» для наблюдения за лучшими представителями здешних масс.

– Ну, Нугзарка, оцени взглядом знатока!

Генерал-майор пересел на откидное сиденье и посмотрел в щелку сначала без бинокля: метрах в сорока от их машины у газетного стенда стояла тоненькая девушка в довольно шикарной жакетке с большими плечами. Она читала газету и ела мороженое, то есть, как и полагается современному советскому человеку, старалась получить сразу не менее двух удовольствий. В сгущающихся сумерках казалось, что ей лет двадцать, однако сбивала с толку нотная папка, которой она с некоторой детскостью похлопывала себя по коленке.

– Почему так долго не зажигают свет? – возмущенно спросил Берия. – Форменное безобразие, люди топчутся в потемках.

В десяти метрах за правым плечом девушки было метро. У дверей закручивались потоки входящих-выходящих. Ей нужно не больше двух секунд, чтобы исчезнуть, подумал Нугзар. Поворачивается и исчезает, и свинье остается только дрожить, на чем он, конечно, не успокоится, будет искать себе другую и, уж конечно, найдет, но уж хотя бы не эту прелесть. Увы, она не уходит. Стоит, дура, со своим мороженым, как будто ждет, когда он пошлет Шевчука или... или... даже меня, генерал-майора Ламадзе... скорее всего, меня и пошлет, «не в службу, а в дружбу»... почему меня никто не попросит его убить?..

В последний год ненависть Нугзара к шефу достигла, казалось, уже предельной точки. Он понимал, что время уходит и что Берия никогда не позволит ему подняться на следующую ступеньку, занять более независимое положение в системе. Неожиданно дарованная Сталиным в тяжелый военный год генеральская звезда так и осталась сиять в одиночестве. Да разве в чине дело? Генерал-майоры в системе иной раз командуют целыми управлениями, осуществляют большой объем работ, получают творческое удовлетворение, накапливают авторитет. Берия, однако, перекрыл ему все пути для роста. Очевидно, он решил это еще тогда, в сорок втором, после памятного ужина у Иосифа Виссарионовича. Крысиным чутьем чувствует опасность. Остановить молодого Ламадзе! Конечно, он мог его просто убрать, как убирал десятки других из своего окружения. Уж кто-кто, а Нугзар-то знал, что Лаврентий любит кончать опасных карьеристов лично, в своем кабинете, неожиданным, в ходе дружеской беседы, выстрелом в висок. Тогда, однако, он не решился таким излюбленным методом избавиться от выдвиженца самого Сталина, а сейчас ему, очевидно, кажется, что и всякая необходимость отпала. Уничтожил Нугзара Ламадзе, максимально приблизив его к себе. Что это за должность: помощник зампредсовмина? Может быть, это человек неслыханного влияния, посвященный во все важнейшие дела государства, а может быть, просто адъютант, холуй, которого за бабами посылают?

Никогда не забывает, скотина, темных пятен в послужном списке Нугзара. Нет-нет да вспомнит «связь с троцкисткой» и то, как спасал эту троцкистку, любимую Нинку Градову, от органов, перепрыгивал ее дело из одного шкафа в другой. Половая связь с врагом партии, дорогой товарищ Ламадзе, нередко приводит к идеологической связи. Да я шучу, шучу, хихикает он, ты что, юмора не понимаешь?

А тут еще вся эта история с маршалышей Градовой – и опять эта семейка, какой-то рок! – из этой истории органы явно не вышли победителем; так считает негодяй. Да как же, Лаврентий Павлович, вот же ее подпись на документе, она в наших руках, в любой момент можем задействовать. Ну, Нугзарка, ты опять лезешь в официализацию! Лучше расскажи старому товарищу, как ты ее ебал, как породнился своим концом, можно сказать, с американской разведкой. Фу, даже пот прошибает от таких шуток, Лаврентий. Фу, Нугзар, уж и пошутить нельзя? Что-то у тебя с чувством юмора появились недостатки.

Сам себе Нугзар иногда признавался, что с Вероникой и Тэлавером далеко не все было ясно в 1945 году. Психологический рисунок операции вроде был безупречный, одного только

в нем не хватало: русской бабской истерики. Вдруг на второй или третий день после предложения без всяких стенаний и даже с каким-то высокомерием Вероника подписала соглашение о сотрудничестве. Уж не открылась ли жениху красotka, не ведет ли двойную игру, подумал тогда Нугзар, однако руководству своих подозрений не выдал. Во-первых, не хотелось все снова запутывать, снижать ценность такого блестящего дела, как помещение своего человека в постель крупного американского военного специалиста. Во-вторых, было немного жалко Веронику, которая ему где-то по-человечески, ну, как говорится, по большому счету, в общем-то, нравилась. Второй посадки она, конечно, уже не выдержала бы. Ну а если бы просто «закрыли семафор», было бы еще хуже: окончательно бы спилась красавица Москвы.

Все прошло неожиданно гладко. Во-первых, Лаврентий, который поначалу лично курировал операцию, вдруг утратил к ней интерес. Во-вторых, похоже было на то, что вмешались самые крупные чины союзников, чуть ли не сам Эйзенхауэр из Германии через союзническую контрольную комиссию или даже прямо через Жукова обратился к Сталину с просьбой не чинить препятствий женитьбе полковника Тэлавера на вдове дважды Героя Советского Союза. Так или иначе, но Берия перестал спрашивать об этом деле, а на прямые вопросы только отмахивался: делай, мол, как хочешь, не имеет, дескать, большого значения. И вот только тогда, когда голубки улетели в Заокеанию – по последним данным, мирно живут в Нью-Хэвене и ни хрена не имеют общего с государственными секретами, – тогда только маршал начал жутковато шутить насчет половых связей с американской разведкой. Снова этот подлец сделал вилку конем: с одной стороны, мол, дело ерундовое, значит, и не надо поощрять Ламадзе, а с другой, пахнет, мол, слегка, чуточку так смердит самым страшеньким, так что, если, мол, плохо будешь соображать, можно и раздуть этот запашок.

Что касается запашков, то, как говорится, в доме повешенного ни слова о веревке. От вождя в последние годы частенько смердит. Жене осточертел со своими бесконечными случаями на стороне, перестала следить за его кальсонами. Ну а сам чистоплотностью не отличается, хорошо моется только перед заседаниями Политбюро... Вообще, с годами какие-то странности стали наблюдаться в чудовище. Вдруг помешался на спорте, на своем любимом «Динамо». Еще до войны упек в лагеря футболистов-спартаковцев, четырех братьев Старостинных, чтобы не мешали успехам «команды органов», а теперь вообще съехал с резьбы: охотится за спортсменами, переманивает их из армейских клубов, а иногда просто похищает. Особенно докучает ему новое общество ВВС, что под эгидой Василия, самого генерал-лейтенанта Сталина. Вдруг ни с того ни с сего начинает беситься. Думаешь, в разведке какой-нибудь провал, в Иране что-нибудь неладно или в Берлине или там какой-нибудь сбой в развороте «ленинградского дела», а оказывается, вся беда в том, что Васька опять к себе каких-то хоккеистов перетасил.

А то вдруг вообще начинается нечто не вполне рациональное, чтобы не сказать иррациональное. Не так давно Нугзар, войдя в кабинет, застал Лаврентия Павловича за чтением «Советского спорта». Сразу понял, что чем-то недоволен вождь в жалкой газетенке, чем-то она его вдруг раздражила. Что-нибудь не так, товарищ маршал?

Можно сказать, что «не так». Вот полюбуясь, что печатают, негодяи. Палец, похожий на миниатюрный хрен в морщинистом гондоне, упирается в стихотворение «На Красной площади». Нугзар мучительно читает:

На площадь в потоке колонн
Под звуки чеканного марша
Вплывает заря знамен.
Вливается грохот металла
И кованый цокот копыт.
И в солнечном шелке алом

Октябрьский
ветер
кипит.
Но вот за полками пехоты
Проходят полки труда,
Заводы идут, как роты,
И песня
звенит
в рядах.

«Читай вслух!» – вдруг гаркнул Берия. Нугзар вздрогнул: таким криком можно и без пистолета человека пришить. Все-таки набрался мужества, развел руками: надо иногда показывать характер чекиста. «Не понимаю, что тут такого читать, Лаврентий Павлович?» Берия нервно хохотнул, вырвал газету: «Не понимаешь? Тогда слушай, я тебе сам прочту с чувством, с толком, с расстановкой». Он начал читать, то и дело останавливаясь, упираясь пальцем в строку, взглядывая на Нугзара и продолжая, распалялся каким-то странным бешенством, часто делая неправильные ударения в русских словах.

Сегодня у стен кремлевских
Спортсменов
я узнаю.
Отвага,
юность
и ловкость
Проходят
в строгом строю.
Над площадью
солнца лучи,
Золотом
плиты
облиты,
Приветствуют москвичи
Любимцев своих
знаменитых.
Колонны шагают легко,
И Красная площадь
светлеет,
Стоит полководец веков
На
мраморном
Мавзолее.
Бессильная ярость
за океаном,
От злобы
корчатся
черчилли,
А он
строительством мира
занят —

Будущее
 вычерчивает.
По всей неоглядной Отчизне,
Равненье
 на Кремль
 держа,
Строится коммунизм
По Сталинским
 чертежам.
Вскипают
 в степи седой
Полезащитные
 полосы,
Тундра
 в осаде садов
Покорно
 пятится
 к полюсу.
Встают города,
 расцветают пески,
Распахнуты
 светлые дали!
И нам,
 как имя Отчизны, близки
Два имени,
 Ленин и Сталин!

«Ну вот, – чтение закончилось как бы в каком-то изнеможении. – Ну, что теперь скажешь?»

«Ничего не понимаю, Лаврентий Павлович», – без всякого сочувствия ответил помощник. Он и в самом деле не понимал, ради чего тут было устроено, один на один, такое фиגлярство вокруг стиха.

«Ах, ты не понимаешь, Нугзар? Это печально. Если даже ты не понимаешь, то на кого же я могу положиться? Только на свое чутье?»

«Простите, Лаврентий Павлович, что же тут можно найти? Тут все, что полагается...»

«Эх, Нугзар, Нугзар, не по-дружески себя ведешь... Сколько раз я тебя просил, один на один не называй меня по отчеству, Нугзар-батону. Я тебя всего на десять лет старше, всю жизнь вместе работаем, понимаешь...» Отшвыривает «Советский спорт», начинает расхаживать по кабинету, причем ходит так, что только и жди, как бы не повернулся с пистолетом. «Никто меня не понимает в этой блядской конторе, кроме Максимильяныча!» Имеется в виду Маленков. «Ты что, Нугзар, между строк не можешь читать? Не видишь, сколько тут издевательства? Над нами над всеми издевается негодяй! Как его зовут? Посмотри, как подписывается? Евг. Евтушенко. Что это за фамилия такая, Евг. Евтушенко? С такой фамилией нельзя печататься в советской прессе!»

«Слушай, Лаврентий, дорогой, что такого в этой фамилии, – возразил Нугзар в том стиле, который вроде от него требовался. – Обыкновенная украинская фамилия, а „Евг.“ – это, наверное, сокращение от „Евгений“...»

«Я этому Евгению не верю! – взвизгнул Берия. – Меня чутье никогда не подводило! Суркову верю, Максиму Танку верю, даже Симонову верю, даже Антанасу Венцлове, а этому нет! Откуда такой взялся – Евг.?»

Вдруг смял комом «Советский спорт», ударил ногой, как вратарь, выбивающий мяч. «Проверить и доложить, товарищ Ламадзе!» Одернул пиджак, нахмуренный пошел к столу читать протоколы ленинградских допросов.

Нугзар тогда подумал: сам с собой играет в кошки-мышки, зловещий бандит. Пытается отвлечься от бесконечных убийств. Конечно, нелегко забыть, как вот в этом же лубянском кабинете поросенком визжал под допросом вчерашний член Политбюро Николай Вознесенский. А сколько таких «поросят» у него на совести! У всех у нас. Все мы тут черные духи, дьяволы, иначе и не скажешь. Однако этот хочет отвлечься: девчонки, спорт... Вот он читает эту газетенку, такой, видите ли, нормальный болельщик, и вдруг опять мрак накатывает, опять крови захотел, теперь какого-то Евг. Евтушенко...

А тот, несчастный, и не подозревает, кто им заинтересовался. Старается, делает из одной строчки три себе на пропитание, то есть под Маяковского крутит. Наверное, какой-нибудь бывший лефовец, пожилой и замшелый неудачник...

Нугзар надел штатский макинтош, мягкую шляпу и поехал в «Советский спорт». Редактор там сразу же, похоже, описался от страха. Вскочил, зашатался, побежал куда-то, в коридоре закричали: «Тарасова к главному!» Прибежал какой-то заведомо. Вот товарищи из органов интересуются вашим автором. Спокойно, спокойно, товарищ редактор, почему множественное число? Не «товарищи интересуются», а вот лично мне интересно, почему вы печатаете такого Евг. Евтушенко. Звонко пишет, говорите? Молодо, говорите, пишет? Любопытно, любопытно. Он сейчас здесь, говорите? А где же? Да вот он здесь, товарищ генерал, на лестнице курит. Позвать? Не надо. Просто покажите. Редактор лично открыл дверь на лестницу. Там стоял долговязый мальчишка в вельветовой курточке, в кепочке-букле, торчал сизый от дыма нос, гордо позировали новые туфли на микропорке. «Вот это и есть Евг. Евтушенко?» – «Так точно». – «Сколько же лет этому вашему Евг. Евтушенко?» Редактор дернулся из-за стола, потом, остановленный жестом грозного гостя, плюхнулся обратно в свое стуло. Трудно было взирать на такого гостя из-за начальственного стола, хотелось навывтяжку, по-курсантски. «Тарасов, сколько лет этому вашему автору?» У Тарасова лицо непроницаемое, даже презрительное: от страха, должно быть, утратил всякую искательность. «Шестнадцать, – бормочет он, – или восемнадцать... Во всяком случае, не больше двадцати...» – «Наверное, еще школьник?» – «Кажется», – с каким-то даже высокомерием прогундосил Тарасов.

Через коридор видно было, как кто-то сверху, из другой редакции, прошел мимо Евг. Евтушенко и как тот потянулся к прошедшему длинной шеей, прозрачный зрачок блеснул неожиданно умудренной лукавинкой. Прошедший хохотнул, что-то сказал, явно вдохновляющее, отчего Евг. Евтушенко сплясал на лестничной площадке маленького трепачка-чечеточку: дела идут, контора пишет!

«Чем же вас подкупили его стихи?» – спросил Нугзар у Тарасова. На главного редактора он уже не обращал никакого внимания. Тарасов сидел, как Будда, почти отключившись от действительности. Все-таки разомкнул уста: «Звонкостью такой... ну, молодостью такой...»

В этот момент Евг. Евтушенко прикончил папиросу каблукон микропорки и заметил, что дверь в кабинет главного редактора открыта. Немедленно поспешил мимо по коридору в туалет и, проходя, заглянул в кабинет с огромным, всеохватывающим интересом. Каков папан, подумал Нугзар, и вдруг сложилась другая оригинальная мысль: нет, такому в тюрьме явно нечего делать.

Тарасов тут вытащил из кармана бумажный лепесток. Вот, еще одно стихотворение принес. Есть неожиданные рифмы... идейность безупречная...

Последнее стихотворение Евг. Евтушенко называлось «Судьба боксера» и рассказывало о тяжелой судьбе американского атлета по имени Джин.

Вспомнил войну,
русского солдата,
Уроженца Сибири дальней,
который,
дружбе солдатской
в задаток,
Джину подарил
портрет
Сталина.
Ничего сейчас у Джина нет,
Только
этот
портрет!
Идет чемпион неоднократный,
Сер сквер.
А наверное, сейчас
бьют куранты
В Москве.
Там люди, как воздухом,
дышат свободой
Под знаменем
Сталинских светлых идей.
Там спорт —
достояние всего народа,
Воспитывает людей!..

«Где же здесь неожиданные рифмы?» – спросил Нугзар. Вся ситуация вдруг показалась ему чрезвычайно забавной. Странная какая-то необязательность присутствует в этой россыпи обязательных слов. Неужели Берия это уловил? «Неоднократный – куранты, сквер – Москве...» – пробормотал Тарасов. «Что?» – «Корневые рифмы». – «Ах да». Это поколение явно не собирается в лагерь. На что они рассчитывают? На корневые рифмы? «Вы пока что, товарищ Тарасов, воздержитесь от напечатания этого стиха, – мягко посоветовал он. – Лады?» – «Как скажете», – сказал Тарасов. «Ну, просто до моего звонка, пока не надо. Стихи, ей-ей, не испортятся за пару недель. Помните, как один поэт сказал: „Моим стихам, как драгоценным винам, наступит свой черед“?»

Тарасов проглотил слюну, отвлекся взглядом в угол: виду подавать нельзя, что помнишь запрещенную Цветаеву. Наверное, думает: ну и чекисты пошли, с такими стишками на устах. Не знает этот Тарасов, что я рос рядом с поэтами. Там, рядом с поэтами, и вырос в убийцу. Такой, стало быть, облагороженный вариант душегуба.

За две недели Берия, разумеется, и думать забыл об авторе стихов «На Красной площади». Приближалось главное событие 1949 года, испытания «устройства» в Семипалатинске. Несколько раз собирали актив засекреченных ученых, накручивали кишки на кулак. Совершили поездку по объектам. Проверяли схему агентуры влияния в западных средствах массовой информации. Если испытание пройдет успешно, надо будет, чтобы об этом, с одной стороны, никто не узнал, а с другой стороны, чтобы узнали все. Хозяин не раз намекал, что от испытания зависит новая расстановка сил на мировой арене. Возможно наступление по всему фронту.

В утренней почте Берии всегда присутствовал «Советский спорт». Иной раз он вытаскивал его из кучи газет, быстро заглядывал в сводку футбольного чемпионата – как там возлюбленное «Динамо» крутится, хлопал ладонью по краю стола то с досадой, то с удовольствием и тут же отбрасывал орган Госкомитета по физкультуре. Однажды Нугзар для собственного алиби все же упомянул о посещении редакции – сделал он это именно тогда, когда шеф был меньше всего расположен говорить о чем-нибудь, кроме «устройства». Однако Лаврентий Павлович тут же его перебил: «О чем ты говоришь, генерал? Да пошел он на хер, этот гамахлэбуло Шевкуненко!» Из этого можно было сделать вывод, что тот приступ необъяснимой ярости в адрес поэта, скорее всего, относится к чудачествам среднего возраста, что все это надо забыть в той же степени, как не следует держать в уме разные прочие эскапады сатрапа, и уж во всяком случае, молодой Евг. Евтушенко может пока что благополучно трудиться над своей «корневой рифмой» во славу завоеваний революции.

Он просто сделал из меня своего холоуя, думал Нугзар, следя в шелку за тоненькой фигуркой с торчащими накладными плечами, просто потакателя своим гнусным причудам, хоть и просит всякий раз помочь ему «как мужчина мужчине». Тут перед станцией метро загорелись фонари.

– На! – сказал Берия. – Вот, полюбуйся, какая прелесть! Я просто влюблен!

– Что «на»? – спросил Нугзар.

Шеф протягивал ему свой охотничий бинокль. Он влюблен, оказывается. Влюбленный кабан. Такому бы хороший заряд в лоб, чтобы стекла посыпались. Нугзар подкрутил колесико. Ничего не скажешь, хороша цейсовская оптика. Перед ним отчетливо выделялось из толпы прелестное детское лицо: светлые глаза избалованной красоточки, крутой лобик, говорящий о мало испорченной породе, тоненький и чуточку, самую чуточку, длинноватый носик, полнокровные губки, мелькающий между ними, словно язычок огонька, изничтожитель мороженого. Все это овевалось под нарастающим ветром трепещущей волной каштановых волос.

– Хороша! – проговорил генерал-майор Ламадзе.

– А я что говорил! – воскликнул маршал Берия. Изо рта пахнуло, как из преисподней. Зубы не чистит, мученик идеи!

– Хороша будет! – закончил свою мысль Ламадзе.

– Что значит будет? – возмущенно возопил Берия, словно гадкий мальчик, у которого отнимают кость. Пардон, что-то тут не сходится: гад, срака!

– Года через два-три хороша будет, – мягко и лживо улыбался Нугзар. Почему-то он не мог себе представить, что подойдет к этой девчонке, покажет ей свою эмгэбэшную книжку и поволочет затем в лимузин. К кому угодно, но только не к этой! Пусть хоть глаза выкалывает, не пойду!

– Ты говоришь не как кавказец, – продолжал чванливо, с выпячиванием подбородка брюзжать Берия. – Вспомни, в каком возрасте в Азербайджане девчонок берут в постель.

В Азербайджане может быть, думал Ламадзе, в цивилизованных христианских странах никогда! Его собственная дочка Цисана, между прочим, тоже подходила уже к «возрасту», кажется, уже месячные начались, и хоть держалась еще за мамкину юбку, а вдруг... через годик привлечет внимание какого-нибудь, если можно так сказать, тлетворного маршала. От этой мысли потемнело в глазах. Убойной силы у меня в правой руке еще достаточно, вот этим биноклем со всего размаху прямо под челюсть, чтобы проломить основание черепа...

– Притащить девчонку, товарищ маршал? – вдруг спереди бойко сделал запрос верный Шевчук.

– Зачем ты пойдешь?! Зачем не Нугзарка пойдет?! – взвизгнул Берия. Когда злится, начинает неправильно говорить по-русски.

Нугзар весело рассмеялся:

– Я просто подумал, Лаврентий, что по закону РСФСР... ха-ха-ха, ведь мы же на территории РСФСР, нас... ха-ха-ха, могут привлечь за растление малолетних...

Мысль о привлечении по закону РСФСР показалась Берии такой забавной, что он даже на минуту забыл о девчонке.

– Ха-ха-ха, ну, Нугзар, насмешил... все-таки ты еще не совсем занудой стал... Шевчук, слышал? По закону РСФСР!

В этот момент вся диспозиция возле метро «Парк культуры» резко переменялась. К девчонке подошел молодой крепкий парень в короткой суконной, заграничного покроя куртке. Снисходительно и уверенно хлопнул ее по попке. Девчонка обернулась и радостно бросилась ему на шею, не выпуская, однако, полусъеденного мороженого. Парень сердито отмахивался от сладких капель. Схватив за руку, бесцеремонно потащил ее через толпу к пришвартованному под фонарем могучему мотоциклу. Через несколько секунд мотоцикл уже отчаливал, сразу же разворачиваясь в сторону Садового кольца. Девчонка сидела на заднем сиденье, обхватив парня вокруг талии, то есть по всем правилам послевоенного московского романешти.

– За ними, товарищ маршал? – вскричал Шевчук. Восклицанием этим он, разумеется, только лишь выказывал стопроцентную преданность и двухсотпроцентное рвение. Может ли возникнуть по Москве более нелепое зрелище, чем бронированный «паккард» второго человека в государстве, преследующий фривольную парочку на мотоцикле? Передавать приказ машине сопровождения тоже было нелепо: за эти несколько минут мотоцикл умчится далеко, ищи-свищи его по необъятной Москве. Да и вообще сам стиль бериевской похотливой охоты не предусматривал суеты, спешки, погони. Наоборот, все должно проходить в медленном неотвратимом, как сама нынешняя власть, гипнотизирующем темпе. В общем, сбежала антилопка!

– Это все из-за тебя, Нугзар, – с досадой, но, к счастью, без особенной злобы проговорил Лаврентий Павлович. – Малолетку, видите ли, пожалел, а за ней как раз и подъехал ебарь. – Вдруг расхохотался: – Это же анекдот, привлекут, говорит, к ответственности за растление, а за малолеткой ебарь-шмобарь тут же подъезжает!

Нугзар, сообразив, что опасность вдруг утекла по прихотливым извивам тиранической психологии, тоже охотно расхохотался, закрутил красивой головой с благородными седыми опалинами на висках.

– Сплоховал, сплоховал я, Лаврентий. Отстал от жизни, старею, наверное.

– Ну вот теперь за это сам и ищи новую дичь! – весело хихикал Берия. – Даю тебе пять минут. На ночь глядя нам надо еще к Хозяину заехать.

Он нажал кнопку. Из вмонтированного в спинку переднего кресла шкафчика выехал поднос с коньяком, хрустальными стаканами, боржомом и лимончиком. Неудачу надо быстро запить и зажевать лимоном.

Дичь не заставила себя ждать. Из недр метрополитена явилась прямо как по заказу московская Афродита с плебейской юной мордахой, заверченный вариант наложницы. Не говоря ни слова, Берия кивнул. Нугзар выпростался из «паккарда» и двинулся к девушке.

По разработанной схеме в таких случаях он должен был быть чрезвычайно вежлив, что было нетрудно, учитывая хорошее, в общем-то, тифлисское воспитание. Ему надлежало приотронуться к козырьку – если в штатском, то к полям мягкой шляпы, – затем извлечь, увы, не то, что вы думаете, уважаемый читатель, а наводящую на всех ужас книжечку МГБ и только потом уже мягким баритончиком произнести: «Простите за беспокойство, но с вами хочет поговорить человек государственной важности». Нугзар всю эту схему выполнял неукоснительно, за исключением сакраментальной фразы, которую он подавал на свой манер: «Простите за беспокойство, но с вами хочет поговорить один из государственных мужей Советского Союза». Какая разница, в конце концов, однако ему казалось, что он вносит в ситуацию какую-то убийственную иронию. Именно этими «государственными мужами Советского Союза» он как бы на одно мгновение убивал злодея, а самого себя спасал от грязнейшего унижения. Неизвестно

еще, как шеф реагировал бы, узнай он о нугзаровском варианте приглашения: ведь до недавнего времени он даже и от верного оруженосца, и может быть особенно от него, ждал подвоха. Сейчас, кажется, он уже не ждет от меня ничего, кроме подлейшего раболепия, ну а жертвам, тем уж не до словесной игры: естественно, голову теряют от страха, ничего не помнят.

Плебеечка, только что гордо под взглядами мужчин несшая свои божественные формы, съежилась при виде вылезшего из страшного лимузина и направившегося прямо к ней красавца- генерала. Приближался самый драматический момент ее маленькой жизни. «Помню, я еще молодухой была» – так будет петь когда-то поближе к старости. Он взял под козырек и извлек из нагрудного кармана – нет-нет, дорогой читатель, – извлек книжечку с испепеляющей аббревиатурой: МГБ, Московская Геронтократия Блядохоров, что-то в этом роде.

На лице у нее вдруг россыпью выступили веснушки, проявилось несколько оспинок. Ничего, сойдет на сегодня.

– Простите за беспокойство, но с вами хочет поговорить один из государственных мужей Советского Союза.

Девушка так перепугалась, что не могла ни вымолвить слова, ни шевельнуть ногою. Нугзар мягко взял ее под руку. Он вообразил, что шеф в этот момент уже закончивает свою систему в кармане штанов.

– Вам не нужно ни о чем беспокоиться. Как вас зовут?

– Л-л-люда, – еле слышно пробормотала жертва.

Нугзар заметил, что за этой сценой внимательно наблюдают постовой милиционер и киоскерша.

– Не волнуйтесь, товарищ Люда, поверьте, нет никаких причин волноваться. Просто с вами хочет познакомиться... (подчеркнул голосом многозначное слово, чтобы поняла, дура, просто выебать хотят, а не под расстрел... ну, поняла?... ну, не целочка же... нет, ничего не понимает, трясется идиотка...) хочет познакомиться один важный государственный... (чуть не сказал «преступник») деятель...

Он повел ее с осторожностью, словно больную. Открылась дверь, но не в главной машине, а в сопровождающей. Очевидно, Шевчук уже сбегал, передал приказ быкам: благополучно доставить к соответствующему подъезду на Качалова. Очевидно, решено сначала к Хозяину с докладом, а уж потом, как скотина выражается, в царство гармоний.

Возле самой машины Люда вдруг взбрыкнула, вся вытянулась стрункой да так заартачилась, что у Нугзара у самого шевельнулось нечто мужское в «остывшей душе», однако тут же майор Галубик выскочил, ловко подсадил девицу под задок. Дверь захлопнулась. Нугзаровская часть операции благополучно завершилась.

А мотоциклист с пассажиркой между тем мчались. Уродливая, с точки зрения какого-нибудь парижанина, Москва казалась им, двадцатитрехлетнему и шестнадцатилетней, прекрасней и, уж конечно, загадочней любых кинематографических Парижей. Эх, сейчас бы вместо Ёлки сидела бы сзади какая-нибудь взрослая девка, думал Борис IV. Предположим, Вера Горда обнимала бы меня за мускулы живота. А вот если бы вместо нашего Бабочки мчал бы меня сейчас какой-нибудь известный спортсмен, предположим, чемпион по прыжкам в высоту, моряк Ильясов, думала Елена Китайгородская, дочь поэтессы Нины Градовой, то есть родная кузина нашего мотоциклиста. Вот такое тесное соприкосновение со спиной спортсмена, разве это возможно? Обвив прелестными руками мускулистый живот неродственного мужчины разве мыслим? Да и вообще, слово «обвив» – разве это существительное?

Сегодня оба обещали деду и бабке приехать на ужин в Серебряный Бор. У Ёлки был урок фортепиано в частном доме на Метростроевской, а после урока, как договорились, Борис подхватил ее у метро «Парк культуры». Ни тот ни другая, разумеется, не подозревали, что попали в фокус некоей вельзевуловской компании из бронированного автомобиля.

Проехали мимо первого в Москве высотного дома, шестнадцатизэтажной гостиницы «Пекин». Она была еще в лесах, однако огромный портрет Сталина уже закрывал окна ее верхней, башенной части. Тот же персонаж, по сути дела, присутствовал в любом московском окне, куда бы ни отлетало око. Там над крышами виднелся профиль, выложенный светящимися трубками, сям вздымалась парсуна – герой в мундире наконец-то приобретенного высшего титула – генералиссимуса отечески озирает веселящиеся под его сенью народы: «Сталин – знаменосец мира во всем мире!» Через пару недель, к 32-й годовщине Октября, лик его явится в самом зените московского небосвода среди фонтанов праздничного салюта.

Когда в прошлом году Борис Градов вернулся из Польши, Москва как раз пульсировала огненными излияниями. Вождь народов плыл над Манежной, подвешенный к заоблачным невидимым дирижаблям. Вокруг разрывались и вспыхивали тысячами многоцветные шутихи, которые давно уже утратили способность шутить, а стало быть, и собственное имя в условиях грандиозных торжеств. Уже и слово «фейерверк» было к подобным зрелищам неприменимо. В ходу был лишь вдохновляющий «салют» вместе с его могучими «залпами».

После четырех лет в лесах или на окраинах полусожженных городов старший лейтенант Градов даже несколько растерялся посреди столичного великолепия. Тысячи запрокинутых лиц с застывшими улыбками взирали на распростертый в небесах цезарский лик. Цезарский, если не больше, подумал основательно к этому моменту пьяный Борис. Разноцветные пятна, летящие по щекам и по лбу, проплывающие иной раз розовые и голубые облачные струйки явно намекали на небесное происхождение этого лика.

«Ах, какими красочными мы сделали наши празднества!» – громко вздохнула рядом представительная дама. Над верхней губой у нее красовались, будто подклеенные, основательные черные усики. Борис потягивал шнапс из плоской, обтянутой сукном офицерской фляги. «Он на нас прямо как Зевс оттуда, сверху, смотрит, правда?» – сказал он даме. «Что вы такое говорите, молодой человек?» – с испуганным возмущением прошептала дама и стала от него поскорее в толпе отдаляться. «А что такого я сказал? – пожал плечами Борис. – Я его просто с Зевсом сравнил, с отцом олимпийских богов, разве это мало?» Не переставая отхлебывать из своей фляги, он выбрался с Манежной на улицу Горького, то есть прямо к своему дому, где ждала его в любой день и час огромная и пустая маршальская квартира. Маршальская квартира! Маршал здесь в общей сложности не провел и недели. Здесь жили чины помельче. Однажды вернулся с тренировки в неурочный час, забежал в «библиотеку» (так все чаще здесь называли кабинет отца) и ошоломел от стонов. На диване, распростертая, лицом в подушку, лежала мать: золотая путаница головы. За ней на коленях, в расстегнутом кительке трудился Шевчук. На лице застыла кривая хулиганская усмешка. Увидев Борьку, изобразил священный ужас, а потом отмахнул рукой: вали, мол, отсюда, не мешай мамаше получать удовольствие.

Пьяный старший лейтенант теперь, вернее, тогда, в мае сорок восьмого, то есть сразу по возвращении из Польской Народной Республики, где он огнем и ножом помогал устанавливать братский социализм, сидел на том же самом диване, в темноте, тянул свой шнапс и плакал.

Здесь нет никого. Здесь меня никто не ждал. Она уехала и сестренку Верульку забрала. Теперь живет в стане поджигателей войны. Не знаю, можно ли ее называть предателем Родины, но меня она предала.

По потолку и по стенам все еще бродили отблески затянувшегося до полуночи салюта. На карниз падали обгоревшие гильзы шутих. Одна пушка салютной артиллерии палила поблизости, очевидно с крыши Совета министров. Водки становилось все меньше, жалости к себе все больше.

Последний год в Польше Борис уже не воевал. За исключением двух-трех ночных тревог, когда всю их школу на окраине Познани вдруг ставили «в ружье», а потом без всяких объяснений командовали «отбой». Аковцы, то есть те, что назывались на политзанятиях «силами реакции», уже либо были уничтожены, либо умудрились выбраться за границу, либо раство-

рились среди масс замиренного населения; теперь за ними охотились местные органы. Бориса вместе с еще несколькими лесными боевиками МГБ и ГРУ откомандировали на должности инструкторов в Познанскую школу. Там он в течение года передавал свой вполне приличный убивальный опыт курсантам польской спецхраны, народу, надо сказать, довольно уголовного типа, которым иногда приходилось не просто показывать какой-нибудь прием самообороны без оружия, но доводить его до конца.

В течение года он послал не менее дюжины рапортов с просьбой о демобилизации для продолжения образования. Всякий раз ответ был однозначный и исчерпывающий: «Вопрос о вашей демобилизации решен отрицательно». Он уже стал подумывать, не принять ли приглашение в закрытую школу старшего командного состава, чтобы хоть таким образом перебраться в Москву, поближе к деду с его связями, как вдруг его вызвали в совместный польско-советский директорат и объявили, что пришла демобилизация.

Впоследствии выяснилось, что как раз дед, Борис III, и был непосредственно замешан в это дело. Проведав какими-то путями, кому непосредственно подчиняется его таинственный внук, Борис Никитич начал планомерную осаду этой инстанции, стараясь дать понять товарищам, что всему свое время, что мальчик, движимый романтикой и патриотизмом, вернее, наоборот, патриотизмом и романтикой, вот именно в этом порядке, отдал родине и вооруженным силам четыре года своей жизни, а между тем ему необходимо продолжить образование для того, чтобы принять эстафету династии русских врачей Градовых. В конце концов ему, заслуженному генералу, профессору и действительному члену Академии медицинских наук, отцу легендарного маршала Градова, трудно было отказать. Невидимая инстанция пошла на попятный и со скрежетом отдала деду его внука, столь ценный для дела мира во всем мире диверсионно-разведывательный кадр.

И вот блаженный день. Борис IV запикивает форму с погонами на дно вещмешка. Отправляется на познанскую толкучку и закупает себе кучу польского штатского барахла. Пьет с начальником АХО, дает ему на лапу и получает в личное пользование как бы списанный огромный эсэсовский «хорьх» с откидной крышей. Денег куча – и рублей, и злотых: Польская объединенная рабочая партия щедро благодарит за помощь в закладывании основ пролетарского государства. Затем – и в Познани, и в Варшаве, и в Минске, и в Москве – соответствующие товарищи проводят с ним леденящие душу собеседования. Ты, Градов, – грушник и, хоть ты уходишь от нас, никогда не перестанешь быть грушником. В любой момент ты можешь понадобиться и обязан прийти, иначе тебе пиздец. Если же ты нас предашь, то тогда, где бы ни был, в любом месте земного шара, тебе «пиздец со щами»; знаешь, что это такое? Хорошо, что знаешь. Если же ты останешься нашим верным товарищем, тогда тебе во всем «зеленый семафор».

Намекалось, и довольно прозрачно, чтобы никогда ни при каких обстоятельствах не принимал предложений от чекистов. У них своя компания, у нас своя. Если прижмут, беги к нам.

Официально ему объявили, что он остается в сверхсекретных списках резерва ГРУ. Разумеется, дали подписать не менее дюжины инструкций о неразглашении того, что знал, в чем приходилось принимать участие во время спецопераций на временно оккупированной территории Советского Союза и в сопредельной братской стране Польше. В случае нарушения к нему будут применены строжайшие меры согласно внутреннему распорядку, то есть опять все тот же пиздец.

Так или иначе, прибыл на тяжеленном «хорьхе» (нагружен в основном запчастями) к родимым пенатам, в Серебряный Бор (предоставляем тем, кто уже успел прочесть два наших первых тома, возможность вообразить эмоции обитателей градовского гнезда) и там получил ключ от пустой квартиры на улице Горького. Он уже знал из смутных намеков в бабкиных письмах, что мать уехала в какие-то места, не столь отдаленные, однако предполагал, что куда-нибудь на Дальний Восток с каким-нибудь новым генералом или высокопоставленным инже-

нером, а то и, чем черт не шутит, с тем же самым мелким демоном его юношеских ночей, вохровцем Шевчуком, однако такого отдаления, американского, не мог себе даже и в бреду вообразить. К тому времени, то есть к весне 1948 года, всю уже разыгрывалась новая человеческая забава, «холодная война». Вчерашние «свои парни», янки стали злобными призраками из другого мира. Склонный к метафорам вождь бриттов вычеканил формулу новой советской изоляции – «железный занавес». О почтовой связи с Америкой даже и подумать-то страшно советскому обывателю, что касается такого спецсолдата, как Бабочка Градов, то для него любая попытка связаться с матерью была теперь равносильна измене своему тайному ордену, что носил имя, схожее с голубиным воркованием «гру-гру-гру», и в то же время напоминал грушу с откушенной мясистой задницей.

Намерения у Бабочки поначалу были весьма серьезные. Немедленно и самыми скоростными темпами получить аттестат зрелости. Все его одноклассники уже заканчивали четвертый курс вузов, и поэтому надо было догонять, догонять и догонять! Что потом? Поступить и окончить за три года какой-нибудь престижный московский институт, ну, скажем, Востоковедения, или Стали и сплавов, или МГИМО, или Авиа, ну... Ну, уж конечно, не какой-нибудь заштатный «пед» или «мед». Аргументация деда была хороша только для выхода из армии, но уж никак не для честолюбивых амбиций Бориса IV. Далеко не заглядывая, он хотел принадлежать к лучшему кругу столичной молодежи, не к середнякам из всех этих «педов» и «медов», до того ординарных, что их уже просто по номерам называют – первый, второй, третий... Медицинский? Трупы резать в анатомичке? Нет уж, прости, дед, посмотрелся я трупов. Борис III разводил руками: ну что ж, этот аргумент действительно не отбросишь.

Благие намерения Бабочки в практической московской жизни, однако, забуксовали. В вечерней школе, куда он записался для получения аттестата, он чувствовал себя кем-то вроде Гулливера в стране лилипутов. И впрямь что-то лилипутское появлялось в глазах одноклассников при его появлении. Никто из них не знал, кто он такой, но все чувствовали, что им не ровня. Учителя и те как-то поеживались в его присутствии, особенно женщины: темно-рыжий, отменных манер и образцового телосложения парень в свитере с оленями казался чужаком в плюгавой школе рабочей молодежи. «У вас какой-то странный акцент, Градов. Вы не с Запада?» – спросила хорошенькая географичка. Бабочка рассмеялся; идеальная клавиатура во рту: «Я из Серебряного Бора, Людмила, хм, Ильинична». Географичка затрепетала, вспыхнула. В самом деле, разве ей под силу научить такого человека географии? И всякий раз с тех пор, встречаясь с Градовым в школе, она потупляла глаза и краснела в полной уверенности, что он не берет ее только лишь по причине пресыщенности другими, не чета ей, женщинами: аристократками, дамами полусвета.

Между тем о пресыщенности, увы, говорить было рановато. Двадцатидвухлетний герой тайной войны, оказавшись в Москве, вдруг стал испытывать какую-то странную робость, как будто он не в родной город вернулся, а в чужую столицу. Заколебалась и мужественность, вновь возник некий отрок «прямого действия», как будто все эти польские дела происходили не с ним, как будто тот малый с автоматом и кинжалом, субъект по кличке Град, имел к нему не совсем прямое отношение, и вот только сейчас он вернулся к своей сути, а этой сути у него, может быть, ненамного больше, чем у того пацана, что он однажды ночью повстречал на Софийской набережной.

Не будет преувеличением сказать, что таинственный красавец Градов сам немного подрагивал при встрече с географичкой. С одной стороны, очень хотелось пригласить ее на свидание, а с другой стороны, неизвестно откуда появлялась чисто детская робость: а вдруг потом начнет гонять по ископаемым планеты?

Среди множества женских лиц вдруг высветилось одно под лучом розового ресторанного фонарика: эстрадная певица Вера Горда. Как-то сидел один в «Москве», курил толстые сигареты «Тройка» с золотым обрезом,пил «Особую», то есть пятидесятишестиградусную, не

залпом, а по-польски, глотками. Вдруг объявили Горду, и, шурша длинным концертным платьем, поднимая в приветственном жесте голые руки, появилась белокурая красавица, что твоя Рита Хейворт из американского фильма, до дыр прокрученного в Познани. Весь зал закачался под замирающий и вновь взмывающий ритм, в мелькании многоцветных пятен, и Боря, хоть и не с кем было танцевать, встал и закачался; незабываемый миг молодости. «В запыленной пачке старых писем мне случайно встретилось одно, где строка, похожая на бисер, расплылась в лиловое пятно...» Одна среди двадцати мужланов в крахмальных манишках, перед микрофоном, полузакрыв глаза, чуть шевеля сладкими губами, наводняя огромный, с колоннами зал своим сладким голосом... какое счастье, какая недоступность...

Да почему же недоступность, думал он на следующее утро. Она всего лишь ресторанный певичка, а ты отставной разведчик все-таки. Пошли ей цветы, пригласи прокатиться на «хорьхе», все так просто. Все чертовски просто. Совсем еще недавно тебе казалось, что в мире вообще нет сложных ситуаций. Если был уже продырявлен пулей и дважды задет ножом, если не боишься смерти, то какие могут быть сложные ситуации? К тому же она, кажется, заметила меня, видела, как я вскочил, смотрела в мою сторону... Он опять пошел в «Москву», и опять Вера Горда стояла перед ним с протянутыми руками, недоступная, как экранный миф.

«Мне кажется, что Бабочка проходит через какой-то послевоенный шок», – сказал как-то Борис Никитич. «Наверное, ты прав, – отозвалась Мэри Вахтанговна. – Ты знаешь, он не позвонил ни одному из своих старых друзей, ни с кем из одноклассников не повстречался».

Бабушка была почти права, то есть права, но не совсем. Приехав в Москву, Борис на самом деле не выразил ни малейшего желания увидеть одноклассников – «вождят» из 175-й школы, однако попытался узнать хоть что-нибудь о судьбе своего кумира, бывшего чемпиона Москвы среди юношей Александра Шереметьева.

Последний раз он видел Александра в августе сорок четвертого на носилках. Его записывали в переполненный «Дуглас» неподалеку от Варшавы. Тогда тот был еще жив, бредил под наркотиками, бормотал бессвязное. Потом на запрос о судьбе друга пришел приказ впредь не делать никаких запросов. Судьба Шереметьева оказалась предметом высшей государственной тайны, очевидно, потому, что ранение произошло во время сверхсекретной операции по вывозу коммунистического генерала из горящей Варшавы.

В сорок восьмом, уже получив на руки все документы, то есть частично освободившись от «гру-гру-гру», Борис рискнул обратиться к непроницаемым товарищам, которые его провожали: «Ну все-таки хотя бы сказали б, товарищи, жив ли Сашка Шереметьев, а если нет, то где похоронен». – «Жив, – сказали вдруг непроницаемые товарищи и добавили: – Это все, что мы вам можем сказать, товарищ гвардии старший лейтенант запаса».

Что же получается, думал Борис, жив и до сих пор засекречен? Значит, до сих пор служит? Значит, руки-ноги целы? Но ведь этого не может быть: его правая нога при мне была расплющена стальными стропилами.

Оставшись при этих сведениях, Борис IV продолжил свое одиночество. В общем-то, одинок он был не из-за высокомерия и даже не из-за послевоенного шока, как предполагали дед и бабка, а просто потому, что отвык – или никогда не умел – навязываться. Иногда он ловил себя на том, что, как подросток, надеется на какой-нибудь счастливый случай, который соединит его с какими-нибудь отличными ребятами, с какими-нибудь красивыми девушками.

В отношении первых случай не заставил себя слишком долго ждать, и все произошло вполне естественно, на почве мото-авто. Однажды подошли двое таких в кожаночках, Юра Король и Миша Черемискин. Боря как раз в этот момент раскочегаривал свой вдруг заглохший «хорьх», подняв капот, возился в обширном, как металлургическое предприятие, механизме. Ребята несколько минут постояли за его спиной, потом один из них предложил обследовать трамблер: там, по его мнению, отошел контакт. Так и оказалось. Когда машина завелась, парни

с большой любовью долго смотрели на мягко работающее восьмицилиндровое предприятие. «Потрясающий аппарат, – сказали они Борису. – Судя по номеру, это ваш собственный?»

Так они познакомились. Ребята оказались мастерами спорта по мотокроссу. Их мотоциклы стояли рядом, ну, разумеется, два «харлей-дэвидсона». Пока еще гоняем на этих, объяснили они, но с нового сезона придется пересаживаться на нечто похуже. Спорткомитет издал приказ о том, что к официальным соревнованиям будут допускаться только отечественные марки.

Тут как раз подъехали еще двое, Витя Корнеев, абсолютный чемпион страны по кроссу, и Наташа Озолина, мастер спорта; тут же подключились к разговору. Тема была животрепещущая в этих кругах. В общем-то, склонялись спортсмены, есть в этом решении некоторая сермяжная правда. Импорт из Америки в ближайшее время вряд ли предвидится, надо свою поощрять мотоциклетную промышленность. Вот такие машины, как «Л-300», «ИЖ», «ТИЗ», «Комета», если их довести до кондиции, могут с европейскими поспорить.

Боря был в восторге от новых знакомств: вот нормальные ребята мне, к счастью, повстречались! Ну и «нормальные ребята» его радушно приняли в свою компанию, особенно когда узнали, что он сын маршала Градова и сам человек с туманным боевым прошлым, да и квартиры у него пустая, всегда к общим услугам, на улице Горького, ну а когда обнаружилось, что он неплохо разбирается в марках немецких мотоциклетов, совсем зауважали.

Естественно, молодой человек мгновенно ринулся в мотодело. «Хорьх» был оставлен для редких вечерних выездов. Совсем забросив школу рабочей молодежи, Борис IV все дни теперь проводил в гаражах ЦДКА и «Динамо», а также в одной из аллей Петровского парка, где по воскресеньям собиралась моторизованная молодежь для обмена запчастями и общего трепя. «Харлея», этот признак высшего мотогонщика, ему пока что достать не удалось, зато приобрел по случаю могучий вермахтовский «цундап», который во время Второй мировой войны был оборудован коляской и пулеметом и мог отлично тащить на себе трех мясистых фрицев. Между тем в спортклубе ему выделили отечественную марку, гоночный компрессорный «ДКВ» с движком объемом 125 кубических сантиметров. Ну, естественно, машину эту он стал «доводить» под чутким руководством Юры Короля и Миши Черемискина. Вскоре стал показывать на ней приличные результаты: на отрезке один километр – 125,45 километра в час на ходу и 89,27 километра в час с места. Через год, гарантируем, станешь мастером, обещали шефы. Раньше стану, усмехался про себя Борис.

Весной сорок девятого поехали всей гопой в Таллин на ежегодную гонку по кольцевой дороге Пирита—Козе. Ехали своим ходом через псковские и чухонские леса, хоть и пугали там «лесными братьями».

Кольцевая гоночная дорога привела Бабочку в полный восторг. Ну, тут уж и вопросов нет, думал он, я должен выиграть когда-нибудь эту карусель. Пока что он был записан запасным в команду ЦДКА, в гонках не участвовал, но прикидки делал вполне прилично. Спортивно грамотная публика на него явно глаз положила, и в частности некая Ирье Ыун, гонщица из «Калева», двадцатилетняя голуболупоглазица чистой балтийской породы. «Получается, что с женщинами поработенной Европы я чувствую себя как-то проще, естественней», – сказал ей Борис после того, как они очень сильно познакомились лунной ночью в готической крепости Тоомпеа. Она, к счастью, не поняла ни бельмеса, только хохотала. «Среди проклятых оккупантов попадаются неплохие ребята, – хохотала она по-своему, – к тому же привозят такое веселое вино „Ахашени“».

Что касается «лесных братьев», то на опытный спецназовский глаз казалось, что их тут не меньше пятидесяти процентов среди публики на автотрассе и уж никак не меньше восьмидесяти процентов в городе. Однажды под утро в ресторане «Пирита», построенном в стиле «буржуазная независимость», брат Борисовой подружки Рэйн Ыун, подвижный такой, координированный баскетбольный краёк, отвел Бориса в угол и показал ему подкладку своего клуб-

ного пиджака. Там, в районе сердца, был нашит трехцветный лоскут: белый, синий, черный – цвета свободной Эстонии.

«Понял?» – угрожающе спросил Ыун. «Понял!» – вскричал Борис. Все было так здорово: мотороман, полурассвет, антисоветчина. Жаль только, что он не эстонец, нашил бы себе такой же лоскут. Что же мне, русскому пню, нашить себе подмышку? Двуглавого орла? «Я тебя понял, Рэйн, – сказал он ее брату. – Я с вами!» – «Дурак!» – сказал баскетболист. Очень хотелось подраться с русским, дать ему по зубам за Эстонию и за сестру. Страна несчастна, сестра хохочет, очень хочется дать по зубам хорошему парню, мотоциклисту из Москвы.

Вот в таких делах проходили дни гвардии старшего лейтенанта запаса, когда вдруг позвонила из школы Людмила Ильинична (откуда номер-то узнала, фея географии?) и сказала, запинаясь: «Вы, может быть, забыли, Градов, но через неделю начинаются экзамены на аттестат зрелости».

Первым делом Борис, конечно, бросился покупать кофе, потом к знакомому медику за кодеином. В студенческих кругах ходила такая фея: кодеину нажрешься – и можно за ночь учебник политэкономии или еще какую-нибудь галиматью одолеть. Вот так неделю прозанимался, сначала кофе дул до посинения, потом к утру на кодеин переходил, шарики за ролики начинали закатываться. Ну, или провалюсь с треском, или – на золотую медаль! Получилось ни то ни другое. В школе рабочей молодежи для статистики никого не заваливали, провалы заполняли трешками. Кодеиновые озарения тоже ни у кого тут восторгов не вызывали. Шикарный и таинственный ученик Борис Градов получил полноценный, но, увы, весьма посредственный аттестат: одни четверочки да тройки.

Ну и пошли они на фиг, эти детские игры! Назад, к нормальным ребятам, к мотоциклам! Все лето катали по мотокроссам – Саратов, Казань, Свердловск, Ижевск. К осени оказалось, что он набрал полный зачет для получения звания мастера спорта СССР. Бумаги, подписанные тренером, ушли в комитет.

Тогда же выяснилось, что катастрофически опоздал к вступительным экзаменам в вузы. Ну что ж, ничего страшного, ждал четыре года, подожду еще один. За этот год стану чемпионом, и меня в любой институт с восторгом без экзаменов примут. Да еще с моей фамилией, сын дважды Героя СССР маршала Градова, чье имя уже украшает неплохую улицу в районе Песчаных! На всякий случай Борис поездил по приемным комиссиям престижных вузов – МГУ, Востоковедения, МГИМО, Стали и сплавов, МАИ... И тут вдруг выяснилось совершенно неожиданное обстоятельство. Оказалось, что на «зеленую улицу» в этих вузах ему рассчитывать не приходится. Оказалось, что он вовсе не принадлежит к тем, «кому открыты все пути». Во всех приемных комиссиях сидели специальные люди, которые после наведения справок давали понять, что не рекомендуют ему подавать бумаги.

Зря потеряете время, товарищ Градов. Здесь у нас идет отбор абитуриентов с совершенно незапятнанной репутацией. То есть ваша-то личная репутация безупречна, ей-ей, лучше не придумаешь, как там сказали... хи... ну, вы знаете где... однако в анкетных данных у вас пятна. У вас странные, нетипичные анкетные данные, товарищ Градов. С одной стороны, ваш дед, медицинское светило, гордость нашей науки, ваш покойный отец, герой и выдающийся полководец, однако с другой стороны, ваш дядя Кирилл Борисович числится в списках врагов народа, а самое главное, ваша мать, Вероника Александровна Тэлавер, проживает в Соединенных Штатах, будучи супругой американского военного профессора, и вот это, конечно, является решающим фактором... Что стало со мной, думал иногда в пустынный час Борис IV, шляясь по комнатам своей огромной квартиры, где едва ли не в каждом углу можно было найти пол-литровую банку, забитую окурками, батарею пустых бутылок, оставшихся после очередного мотосборища, пару колес с шипами для гонок по льду или без оных, ящики с промасленными запчастями, свалку одежды, стопки учебников. Как-то не улавливаю связи между собой сегодняшним и тем, позавчерашним, которого мама в хорошие минуты называла «мой строгий

юноша». Куда подевался, скажем, мой патриотизм? Все чаще вспоминаются слова приемного кузена Митьки Сапунова об «извергах-коммунистах». Да я ведь и сам теперь из их числа, вступил тогда, в польском лесу, всех тогда было предписано принять в партию. Нет, я не об этом. Патриотизм – это не партия, даже не коммунизм, просто русское чувство, ощущение традиции, градовизм... Что-то такое росло в душе, когда убегал из дома, боялся не успеть на войну, глупец. Все это растеклось в мерзости карательной службы – вот именно карательной, кем же мы еще были в Польше, если не свирепыми карателями, – все это, понятие «родина», растеклось, осталась только внутренняя циничная ухмылка. Никто из парней никогда не ухмылялся при слове «родина», все хранили серьезное молчание, однако у всех по лицам проходил, он замечал, какой-то отсвет этой ухмылки, как будто сам черт им ухмылялся прямо в лица при слове «родина».

А сейчас я просто потерял какие-то контакты сам с собой, вернее, с тем, со «строгим юношей», какой-то трамблер во мне поехал, и я никак не могу вернуться к себе, если только тот «строгий» был я сам, а не кто-то другой, то есть если вот тот, что я сейчас собой представляю, бесконтактный, с поломанным трамблером, не есть моя суть.

Я просто не могу тут без матери, вдруг подумал он однажды в пустынный час. Там, в лесу, мне не нужна была мать, а здесь, в Москве, я не могу без матери. Может быть, я тут и кручу сейчас без конца эти моторы, потому что не могу без матери. Вот эта пожирающая скорость – это, может быть, и есть бессмысленное стремление к матери. Но до нее не добежишь, она в Америке, предательница. Америка – страна предателей, бросивших свои родины. Вот и она туда убежала со своим длинным янки, которого ненавижу больше, чем ненавидел Шевчука. Если бы встретились на поле боя, я бы ему вмазал! Предала эту нашу хитротолстожопую родину, предала отца, предала меня. И Верульку увезла. Теперь у меня нет и никогда не будет сестры.

Все-таки еще хотя бы есть двоюродная сестра Ёлочка, думал Борис IV, погоняя свой вермахтовский «цундап» вдоль Ленинградского проспекта. Киска все-таки какая. Держит меня за стальное пузо нежнейшими пальчиками. В старину, черт возьми, женились на кухнях. В старину я бы на Ёлке женился. Сейчас нельзя. Сейчас мне больше, может быть, сестра нужна, чем жена. Какому-нибудь дураку наша Ёлочка достанется. Вряд ли какому-нибудь концентрированному парню, мастеру мотоспорта. Скорее всего, с каким-нибудь болваном-филологом познакомится на абонементных концертах в консерватории.

Было уже совсем темно, когда они подъехали к даче. Ворота были открыты: старики ждали их прибытия. Борис въехал во двор и остановился напротив большого окна столовой, за которым видны были собравшиеся вокруг стола остатки градовского клана: седовласый печальный патриарх, все еще прямая и гордая бабушка Мэри, все еще молодая и красивая и донельзя стильная со своей вечной папиросой поэтесса Нина, ну и Агаша, совсем уже как бы утратившая понятие возраста и все хлопочущая вокруг стола в постоянном монотоне и все с тем же репертуаром, коим мы потчевали читателей двух предыдущих томов: пирожки, капусточка провансаль, битки по-деревенски... Кое-что новое, впрочем, появилось в ее кружении: временами она стала застывать с блюдом в руках и с философским выражением на лице, вытесняющим привычную лучезарную доброту. Казалось, она задает кому-то немой вопрос: только лишь в любви ли к ближнему заключается смысл человеческой жизни?

Не следует нам также скрывать от читателей, что после стольких потерь в клане Градовых появилось и прибавление, то есть некоторое расширение, если это дефинитивное существительное применимо к лысенькому и узкоплечему, с пушистыми пиросманиевскими усами живописцу Сандро Певзнеру, которого Агаша в телефонных разговорах со старым другом, заместителем директора киностудии имени Горького по АХЧ товарищем Слабопетуховским, называла не иначе как «то ли муж наш, то ли друг».

Ёлка спрыгнула с мотоцикла. Боря грубовато, как надлежит кузену, хлопнул ее по лопаткам:

– Что-то слишком нежно обнимаетесь, мадемуазель! Где это вы так научились?

– Дурак! – замахнулась она нотной папкой, и у него мелькнуло вдруг нечто немотоциклетное: эх, если бы задержать, ну хоть бы повторить это мгновение!

Тоненькая девчонка в таком легком порывистом движении, с таким счастливым и чистым лицом. Он смотрел на нее, словно сам уже не был юнцом, словно сам уже точно знал, что это значит – больше никогда не испытать вот такого, как сейчас у Ёлки, очарования и ожидания жизни.

Ей было шестнадцать лет, она начинала девятый класс. Пуританское воспитание школы и общее ханжество общества, а также некоторый недостаток внимания со стороны блистательной мамочки и некоторый переизбыток внимания со стороны величественной бабули привели к тому, что Ёлка только совсем недавно поняла, что означают странные взгляды мужчин в метро и на улице. Сначала она думала, что, может, пуговица оторвалась на пальто или носок съехал на пятку, краснела, заглядывала в отражающие поверхности, в чем дело, почему такие пристальные взгляды, да еще нередко и в совокупности с кривыми улыбочками, направлены в ее адрес. Однажды с мамой ехали в метро, с поэтессой Ниной Градовой. Вдруг какой-то уставился. Такой толсторожий, в большом кожаном пальто с меховым воротником и в белых фетровых, с кожаной оторочкой бурках. Мама, хоть и книжечку, по обыкновению, читала – кажется, дневники Адели Омар-Грей, – заметила мордатого, резким движением откинула волосы назад и посмотрела ему прямо, как она умеет, с вызовом, в лицо. Далее произошло нечто для обеих, матери и дочери, захватывающее и незабываемое. Прошло мгновение, в течение которого мать поняла, что это не на нее направлено похотливое внимание мужчины, а на ее дочку. Вспыхнув, она повернулась к Ёлке, и тут вдруг до вчерашнего ребенка дошел весь смысл этого промелька. Произошло какое-то неизвестное доселе, пакостно всколыхнувшее и в то же время музыкально и радостно опьяняющее озарение. Мать же, схватившая ее за руку и повлекшая к выходу из вагона, благо и их остановка подошла, испытала мгновенную и острейшую грусть, если то, что мгновенно жалит, может называться грустью. Конечно, они не сказали друг другу ни слова и никогда в течение всех последующих дней не говорили об этом эмоциональном вихре, налетевшем на них из-за мерзкого мордатого дядьки в поезде метро на перегоне от «Охотного Ряда» до «Библиотеки имени Ленина», однако из всех скопом валивших и пропадающих мигів жизни этот ярко выделился и не забывался никогда.

Короче говоря, Ёлочка повзрослела и теперь после школы перед музыкальным уроком не упускала возможности забежать домой, в Гнездиновский, чтобы сменить опостылевшую коричневую, с черным фартучком школьную форму на мамину жакетку с плечами, как не забывала и подкрасить ресницы, чтобы оттенить исключительное, градовско-китайгородское лучеглазие.

Уже половина ее жизни, то есть восемь лет, прошла без отца. Папа вспоминался как друг-великан, с которым вечно куролесили, возились и хохотали. Вспыхивали и пропадали яркие картинки раннего детства: папа-лыжник, папа-пловец, папа-верблюд, то есть это когда едешь у него на плечах от озера к железнодорожной станции, папа-мудрец объясняет «Дон Кихота», папа-обжора съедает целиком сковороду макарон с сыром, папа-вечный-мамин-кавалер подает поэтессе Градовой шиншилловую шубу в виде обыкновенного драп-пальто, одергивает фрак в виде спинжака – отправляются на новогодний бал в Дом литераторов... «Как Сам, как Сам! – помнится, кричал папа. – Ну, разве вы не видите, что я, как Сам, во фраке?»

Мама и Еленка, вслед за ней, от смеха умирали. Только много лет спустя Ёлка узнала, что под словом «Сам» имелся в виду Сталин. Оттого мама и «умирала», что вообразить Сталина во фраке было невыносимо. Конечно, было бы еще смешнее, если бы папа тогда просто говорил:

«Я сегодня, как Сталин, во фраке», однако он вполне разумно не произносил этого, боясь, что на следующий день в детсаду дочка будет показывать сверстникам «Сталина во фраке». И не ошибался, конечно: Ёлка помнила, что она и в самом деле потом в детсаду прыгала и кричала, как оглашенная: «Сам во фраке! Сам во фраке!»

Слова «погиб на фронте», которые она писала в графе «отец» при заполнении школьной анкеты, никогда не доходили до нее в их подлинном смысле, то есть она никогда не представляла себе, что тело ее отца было истерзано пулями и истлело в сырой земле. «Погиб на фронте» сначала означало, что он просто исчез, что он, конечно, где-то есть, но никак не может до нее, своей единственной дочки, добраться. Она видела, как мама тайком плачет в подушку, и сама, подражая ей, плакала в подушку, будучи, однако, в полной уверенности, что эти слезы в конце концов помогут папе найти дорогу обратно. С возрастом она поняла, что он уже не доберется, что его нет, и все-таки мысль об истреблении его плоти никогда ее не посещала.

Вдруг появился старший брат. То есть не полный старший брат, а двоюродный, но зато какой великолепный, Борька IV! Они мгновенно сдружились, частенько даже ходили вместе в кино и на каток. Иногда он брал ее с собой на соревнования, и тогда она замечала, что он явно гордится ею перед друзьями: вот такая, мол, имеется красивая сестренка. В их отношениях присутствовало нечто любовно-юмористическое, то, что как-то косвенно относилось к тому отдаленному детскому куролесничеству, нечто имеющее какую-то связь с ее полузабытой отцовщиной. Жаль, что он мне брат, думала она иногда, вышла бы за него замуж.

Итак, они вошли вместе в дом, к полному восторгу ожидавшего их семейства. Тут когда-то ведь был еще и пес, наш любимый Пифагор, одновременно вспомнили они. Борису это было нетрудно: овчар был в расцвете сил во времена его детства. Почти серьезно Борис всегда утверждал, что Пифагор сыграл серьезную роль в его воспитании. Однако и Ёлке казалось, что она прекрасно помнит, как ползала здесь по ковру, а старый благородный Пифочка ходил вокруг и временами трогал ее лапой.

Итак, они вошли, и все просияли. Даже нервная Нина мимолетно просияла, прежде чем снова уткнуться в газету; просиял и Сандро. Этот последний, вернувшись с войны, умудрился прописаться в Москве у единственной своей родственницы, престарелой тетки. Счастью его не было границ. Он не мог себе представить, что будет жить вдалеке от Нины. Поначалу все шло хорошо. Первая официальная выставка прошла успешно. Ободрительная рецензия в «Культуре и жизни», между прочим, сообщала, что «лучшие живописные традиции „бубновалетовцев“ Сандро Певзнер наполняет глубоким патриотическим содержанием, сильными впечатлениями своего недавнего боевого прошлого». Сейчас даже невозможно себе представить, что так могли писать в 1945 году: «бубновалетовские» традиции и патриотизм! В те времена, однако, его реноме подскочило, МОСХ даже выделил студию на заброшенном чердаке в Кривоарбатском переулке. Взявшись за плотницкие и малярные принадлежности, Сандро превратил затхлую дыру в уютное гнездо процветающего богемного художника: огромное полукруглое окно над крышами Москвы, спиральная лесенка на антресоли, камин, полки с книгами, альбомами, древними паровыми утюгами, медными ступками, чайниками, самоварами; на отциклеванные своими руками полы бросил два тифлисских старых ковра, где-то раздобыл «древесно, что звучит прелестно», которое – то есть старинный маленький рояль – звучало прелестно пока только в воображении, ибо в нем отсутствовали две трети струн, да и клавиши все западали, однако, будучи отреставрировано в будущем, оно, конечно, зазвучит и в реальности, создавая особую атмосферу московских артистических вечеров, главным и постоянным украшением которых, несомненно, станет поэтесса Нина Градова.

«Ну что ж, храбрый воин и патриот с сильными впечатлениями своего недавнего боевого прошлого, – сказала последняя, посетив завершенную „певзнеровку“, – можешь считать, что это твоя окончательная победа. Отсюда я уже никуда не уйду!»

Так Нина стала жить на два дома, Гнезниковский и Кривоарбатский, благо расстояние между ними было небольшое. Взрослеющая Ёлка к этой ситуации быстро привыкла и ничего не имела против. Художник ей нравился, и она звала его просто Сандро без добавления мещанского «дядя». Впрочем, она и маму свою часто звала Ниной, словно подружку.

Сандро умолял любимую «оформить отношения», но она всякий раз начинала придуриваться, допытываясь, что он под этим имеет в виду, ведь она всякий раз, ложась с ним в постель, старается как можно лучше оформить отношения.

Все шло, словом, дивно в жизни «божьего маляра», как Нина его иногда называла, пока не началась идеологическая закрутка конца сороковых. После ареста членов Антифашистского еврейского комитета сверху в творческие организации стали спускаться жидоморческие инструкции. В январе сорок девятого партия произвела направляющий документ «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению». Выявлена была антипатриотическая группа театральных критиков, состоящая, в частности, из неких Юзовского, Гуревича, Варшавского, Юткевича, Альтмана, которые пытались дискредитировать положительные явления в советском театре, с эстетских, немарксистских, космополитических позиций атаковали выдающихся драматургов современности, в частности Сурова, Софронова, Ромашева, Корнейчука, протаскивали в репертуар идейно чуждые пьески Галича (Гинзбурга) и прочих «со скобками», низкопоклонничали перед буржуазным Западом. Оформилась могучая антикосмополитическая кампания советского народа, в редакции потекли возмущенные письма доярок, металлургов, рыбаков, требующих «до конца разоблачить космополитов». В творческих организациях проходили бесконечные пленумы и общие собрания, на которых записные ораторы истерически требовали «открыть скобки» у космополитов, скрывшихся под русовидными псевдонимами. Особенно старались, разумеется, писатели, однако и художники не хотели отставать.

До Сандро Певзнера очередь дошла не сразу. Держиморды, очевидно, спотыкались о его грузинское имя, вместе с которым автоматически проглатывалась и еврейская фамилия. Дружбу народов СССР надо было все-таки всячески опекать, вот, очевидно, благодаря этому постулату Сандро и смог некоторое время, как Нина злобно шутила, придуриваться под чучмека.

Вдруг однажды секретарь МОСХа, некий червеобразный искусствовед Камянов, с трибуны нашел его взглядом в переполненном и потном от страха зале и заявил, что пришла пора серьезно поставить вопрос о последышах декадентских групп «Бубновый валет» и «Ослиный хвост» и, в частности, о художнике Александре Соломоновиче Певзнере. Что он несет советскому человеку на своих полотнах? Перепевы ущербной, безродной, космополитической поэтики Шагала, Экстер, Лисицкого, Натана Альтмана? Советскому человеку, русскому народу с его высочайшими реалистическими традициями такие учителя не нужны.

Попросили высказаться. Бледный Сандро начал заикаться с трибуны, но постепенно окреп и высказался так, что хуже и не придумаешь. Во-первых, он не понимает, чем живописная эстетика «Бубнового вала» противоречит патриотизму. Во-вторых, «Валет» и «Хвост» нельзя смешивать друг с другом, они находились в непримиримой вражде. В-третьих, обе эти группы состояли из ярких индивидуальностей, и о каждом художнике хорошо бы говорить отдельно. В-четвертых, вот товарищ Камянов набрал тут для пушного страха одних еврейских фамилий космополитов-декадентов... – в этом месте Камянов в гневе ударил кулаком по столу президиума и обжег оратора уже не червеобразным, а змеиноподобным взглядом, – но почему-то, продолжил Сандро, не привел ни одной русской фамилии, таких, скажем, мастеров, как Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, Василий Кандинский...

Тут присутствующий из ЦК некто Гильичев – глиняная глыба лба, влажные присоски губ и ноздрей – с мрачным вопросом повернулся к Камянову. Тот что-то быстро ему нашептал про упомянутых. Гильичев тогда прервал художника Певзнера, пытающегося сбить с толку присутствующих разглагольствованиями о какой-то «переплавке» традиций революционного,

видите ли, авангарда, и поинтересовался, как это так получается, что советский художник, член творческой организации, оказывается столь осведомленным в так называемом творчестве эмигрантского отребья, белогвардейцев от искусства? Нет ли тут какой-то уловки во всех этих разглагольствованиях о творческой «переплавке»? Не пытаются ли тут нам подмешать в нашу сталь буржуазной коросты?

Сандро сошел с трибуны, и тут сразу полезли разоблачители. Немедленно отмежевалось несколько старых товарищей. Кто-то предлагал тут же разоблачить миф о талантливости Сандро Певзнера. Какой-то дремучий и всегда полупьяный ваятель даже заорал, что надо раскрыть у Певзнера скобки, после чего Сандро уже возопил, забыв о всех околечностях: «Какие скобки тебе нужны, идиотина? Со своей дурацкой башки сними скобки!»

Пьяный захохотал, начал передразнивать грузинский акцент, однако его никто не подержал: все знали, что в Москве еще кое-кто говорит с грузинским акцентом. Воцарилось молчание, и в этом, совсем уже зассанном страхом молчании Сандро Певзнер гордо покинул помещение. Так он, во всяком случае, потом рассказывал Нине, с резким отмахом ладонью вбок и вверх: «И я пакнул памэщэние!» На самом деле еле-еле до дверей добрался и по коридору бежал в панике, скорей-скорей на свежий воздух. Друг-коньяк спасал его до утра в ожидании ареста, однако ареста не последовало. Из ведущих «космополитов» тогда почти никто не был арестован: то ли у партии руки еще не дошли до их мошонок, то ли «солили» впрок для более важных событий. Страх, однако, всех терзал животный, во всех трех смыслах этого слова: во-первых, нечеловеческий, во-вторых, непосредственно за «живот», то есть за жизнь, а не за какую-нибудь опалу, в-третьих, такой страх, что вызывает унижайшую перистальтику в животе, когда в самый драматический момент в вашем подполье с глухой, но явственной угрозой, будто последние силы сопротивления, начинают перемещаться газы. И неудивительно: ведь за каждой строчкой партийной критики стоял чекист, мучитель, палач, охранник в вечной лагерной стыни.

Страх подвязал все либеральные языки в Москве. Люди Нининого круга уже не обменивались даже шуточками, в которых можно было хотя бы мимолетно заподозрить какой-нибудь идеологический сарказм. Даже и ироническая мимика была не в ходу. Попробуй хмыкнуть в ответ на какую-нибудь речь всесоюзного хряка Анатолия Софронова. Немедленно полетит на тебя соответствующая рапортничка «туда, куда надо». Остались только взгляды, которыми еще обменивались при полной неподвижности лицевых мышц. По этим взглядам, к которым вроде нельзя было придраться, либералы научились определять, кто еще держится, в том смысле, что еще принадлежит к их кругу. Опушенные глаза немедленно говорили: на меня больше не рассчитывайте, вскоре появится гнусная статья, или мерзкий стук, или подлейшая «патриотическая» повесть за моей подписью.

Жизнь тем не менее шла, и на нее надо было зарабатывать деньги. Сандро оказался в полной блокаде: о выставках и об официальной приемке картин не могло быть и речи. Он радовался, если доставалась хоть небольшая халтура – оформить стенгазету в подмосковном совхозе или через вторые-третьи руки получить заказ на макет почтовой марки, посвященной героической советской артиллерии. Основной доход в семью шел от Нины, которая приспособилась переводить «верстами» с подстрочников стихи лучезарных акынов Кавказа и Средней Азии, этих чудовищных порождений социализма, творящих новую культуру, «национальную по форме, социалистическую по содержанию». Республики платили поэтессе Градовой довольно щедрый гонорар, а одна, хоть и завалищенькая, дала ей даже титул заслуженного деятеля своей культуры.

Эти так называемые переводы с языка, ни единого слова которого ты не знаешь, были главным подспорьем поэтов. Даже и загнанная еще Ждановым Ахматова, и полностью замолчавший и укрывшийся в переделкинских кустах Пастернак занимались этим делом. Забыть обо всем, думала иногда Нина, жить, как Борис Леонидович. Он ведь, кажется, ничуть не тужит.

Свое пишет «в стол», неплохо зарабатывает переводами, говорят, даже влюбился в шестьдесят лет, живет так, как будто не очень-то замечает, что происходит вокруг: «Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?» Отчего же меня-то всю колотит? Почему я не могу оторваться от этих гнусных статей, «раскрывающих скобки», почему я хожу на эти кошмарные собрания и напоминаю, кто что сказал, как будто когда-нибудь можно будет спросить с грязных ртов?

За ужином она сильно и зло хлопнула ладонью по «Правде», смяла папиросу, расхохоталась:

– Ну, я вам скажу, тут, оказывается, есть что почитать сегодня, сеньоры и сеньориты!

Все с удивлением посмотрели на нее.

– Перестань, – тихо сказал Сандро: ему не хотелось, чтобы она начала читать дубовые правдистские словеса на разные голоса, как это часто случалось наедине с ним. Совершенно не обязательно нарушать таким образом мирную семейную трапезу, да к тому же и присутствующую молодежь заражать опасным сарказмом.

– Что ты там такого выискала, тетка Нинка? – снисходительно спросил Борис IV. Сам он в этой газете просматривал только последнюю колонку, где иногда печаталась кое-какая спортивная информация.

– Сегодняшний текст достоин всеобщего внимания, – продолжала ерничать Нина. – Вот слушайте, какие даже и в наше время случаются стилистические чудеса!

Статья называлась «Порочная книга». Автор, товарищ В. Панков, со сдержанным гневом и с легкой партийной издевкой рассказывал о том, как некий вологодский сочинитель Г. Яффе взялся за перо, чтобы написать книгу «Колхозница с Шлей-бухты» в серии «Портреты новаторов наших дней». Своей героиней он избрал лауреата Сталинской премии свинарку Люськову Александру Евграфовну.

Описывая эту знатную колхозницу, Г. Яффе говорит, что она как бы «выступает от лица природы», зная все мельчайшие свойства свиношек, кур и петушков, анализируя все хрюканья и пiski, при помощи которых она может даже предсказывать погоду. Именно глубокое понимание природы позволяет Люськовой перестраивать живые организмы. Так, по Яффе, вера в прогнозы пети-петушка приводит к серьезным практическим и научным выводам... Этот сочинитель явно не без скабрёзной цели называет новатора «фермершей», «опекуншей», «усердной попечительницей»; что это за термины, откуда?.. Он опошляет народный язык, употребляя надуманные пословицы, вроде «не люблю назад пятками ходить».

«...Яффе грубо искажает деятельность депутата, говоря, что Люськова только и делает, что борется против несправедливостей. В превратном виде представлены жизнь советской деревни и достижения новаторов... Есть и такие, пишет он, которые пришли к совершенно фантастическим (?) результатам. К счастью, эти достижения выражены живыми занумерованными поросятами. Иначе рассказ о них несомненно (?) показался бы новеллой барона Мюнхгаузена...

...А как вам понравятся, читатель, вот такие перлы. „Свиньи нередко рожают таких существ, которые, едва взглянув на белый свет, словно сразу решают: «Э, жить не стоит!»“ Вот к какой глупости приводит литературщина!

А разве не видна оскорбительная ухмылка в таких, например, фразах, как: „Все наше садоводство надо до корня «промичурить»“... Непонятно, почему редактор Вологодского издательства К. Гуляев беспечно пустил гулять по свету такое издевательство над обобщением опыта передовых людей страны... Книги о передовиках сталинских пятилеток должны воспевать вдохновенный труд строителей коммунизма...»

Кончая читать, Нина уже захлебывалась от смеха.

– Ну, каково?! – вопрошала она присутствующих. – Каков Яффе, ну не Гоголь ли? Каков Панков, ну не Белинский ли? Да ведь это же, товарищи, не что иное, как новое письмо Белинского Гоголю! Думаю, не ошибусь: перед нами один из основных текстов русской культуры!

Она наслаждалась своей сатирической находкой: новое «письмо Белинского Гоголю», снова и снова оглядывала окружающих, понимают ли они смысл шутки. Мама сдержанно, очень сдержанно улыбалась. Отец улыбался живее, однако вроде бы слегка покачивал головою, как бы говоря «язык твой – враг твой». Ёлка прыснула: они как раз проходили «письмо Б. – Г.», и не исключено, что оно ей что-то другое напомнило, совсем не связанное с мамиными эскападами. Борис IV улыбочиво жевал кусок кулебяки: секретная служба приучила его не шутить по адресу государства, а газета как-никак «острейшее оружие партии». Няня кивала с неадекватной сокрушенностью. Сандро, просияв было от «находки», тоже благоразумно смолчал. Короче говоря, народ безмолвствовал. А вот возьму завтра и повторю этот номер на секции переводчиков, подумала Нина, зная прекрасно, что никогда этого не сделает: не сумасшедшая же ж!

Молчание прервала Агаша.

– А зачем же так без конца дымить, как печка? – строго сказала она Нине и потянулась за ее папиросой. Не дотянувшись, тут же повернулась к Ёлке: – А ты чего же так все глотаешь, не жуя, как чайка? Вот учись у Бабочки, как он жует хорошо, будто тигр.

Вот тут уж все наконец замечательно расхохотались и обстановка разрядилась.

– А у меня, между прочим, для вас сюрприз, ваши величества, – обратился Борис IV к деду и бабке. – Надеюсь, вы, Борис Третий, августейший повелитель, не грохнетесь со стула, узнав, что ваш нерадивый отпрыск в конце концов решил поступить в медицинский институт?

Он не зря так пошутил насчет стула. Семидесятичетырехлетний хирург давно уже не испытывал такого сильного счастья. Уши не изменяют мне? Глаза не изменяют мне? Руки не изменяют мне? Борис Никитич кружил вокруг внука, обнимая его за могучие плечи, заглядывал в стальные глаза:

– Неужели передо мной сидит продолжатель династии русских врачей Градовых? Бабочка, родной, ты будешь, я уверен, очень хорошим врачом! После всего того, что тебе довелось пережить, ты будешь великолепным врачом-терапевтом и клиницистом!

Вечер завершился, как в добрые старые времена, Шопеном. Мэри Вахтанговна импровизировала на тему Второго концерта фа-минор; получалось сегодня мажорно! Верный ее рыцарь, никогда за всю жизнь не изменивший ей ни с одной женщиной (в отличие от нее, грешной, изменившей ему однажды во время короткого грузинского ренессанса), стоял, как и встарь, облокотясь на рояль, и кивал с глубоким пониманием. Он знал, что это не только в честь Бобки-Бабочки, но и в его честь, в знак благодарности за проявленное мужество. Как раз сегодня утром Борис Никитич отверг предложение партбюро Академии, выдвинувшего его на пост вице-президента. Сослался, правда, на возраст и состояние здоровья, но все прекрасно поняли, что совесть русского врача не позволяет ему занять место изгнанного «безродного космополита», академика Лурье.

После концерта Борис, который решил остаться на ночь со стариками, пошел проводить до трамвая тетку, кузину и «нашего-то-ли-мужа-то-ли-не-знаю-кого» Сандро Певзнера. По дороге в темной аллее все четверо непрерывно курили. Автор не оговорился, уважаемый читатель, знакомый с пуританскими в отношении юных школьниц нравами конца сороковых и пятидесятих годов: Ёлке тоже иногда, разумеется не в присутствии деда с бабкой, разрешалось подымить, что всякий раз приводило ее в состояние тихой экзальтации.

– Что же тебя вдруг подвигнуло на благородную стезю, Борис? – спросила Нина.

Племянник пожал плечами:

– А что прикажешь делать? Конечно, я думал о МГИМО или о МАИ, но там эти представители... ну, вы понимаете, о ком я говорю... дали мне ясно понять, что шансов нет никаких. Расскажи кому-нибудь, не поверят. Сын дважды героя, маршала Советского Союза, и сам почти герой... ты знаешь, меня ведь представляли на героя, но потом заменили на Красное Знамя... И вот у меня нет доступа в престижные вузы. Туфта какая-то. Дядя, видите ли, из «врагов», а самое главное, мамаша в США, замужем за империалистом-янки. Это перевешивает. Сиди, не вертуйся. Что же мне делать? Высшее образование надо получать? Единственный вариант – к деду под крыло. Он, кстати, обещал, что, может быть, еще в этом году как фронтовику задним числом оформят вступительные экзамены. Почему бы не стать врачом, в конце концов? Все-таки, действительно, династия, традиции. Буду гонять машину за спортобщество «Медик»...

Он еще что-то говорил, пожимал плечами, усмехался, бросал сигарету и закуривал новую, когда Нина вдруг плотно взяла его под руку, слегка как бы повисла и заглянула в глаза:

– Скажи, Боря... ты скучаешь по ней... тебе хотелось бы ее увидеть?..

Зачем я это делаю, подумала она. Писательское любопытство на грани жестокости, ей-ей...

Несколько шагов Борис еще прошел с теткой под руку, однако она уже чувствовала, как враждебно каменела эта конечность. Вырвал руку, прошел чуть вперед, вдруг обернулся с горящим и прекрасным юношеским лицом:

– Вы... вы... – Он явно, будто утопающий, искал, за что бы уцепиться, наконец вроде бы что-то нашел, усмехнулся надменно: – Вы, ребята, надеюсь, понимаете, что, если бы я захотел ее увидеть, я бы это сделал просто вот так! – И он щелкнул пальцами у себя над правым ухом. Какой-то странный жест, мелькнуло у Нины. Ах да, Польша!

– Что ты имеешь в виду, Борька? – ужаснулась Ёлочка. – Через границу, что ли?..

Он пожал плечами:

– А почему бы нет?

Девочка всплеснула белыми в темноте ладошками:

– Но ведь это же невозможно! Борька! Через советскую границу? Что ты говоришь?!

Довольный, что его вспышка и промельк детского отчаяния вроде бы прошли незамеченными, Борис IV усмехнулся:

– Ничего особенного. В принципе, ничего нет легче, чем это... Вы уж простите, Нина, Ёлка, Сандро, но вы, похоже, не совсем понимаете, что я за человек и чем мне приходилось заниматься во время войны и три года после.

В этот момент они остановились под уличным фонарем и образовали маленький кружок. Борис смотрел на Нину с непонятной улыбкой. Ой, какой у меня брат, подумала Ёлка с восхищением. Кажется, я понимаю, чем он занимался во время войны и три года после, подумал Сандро. Такие убийцы (он решительно перечеркнул жуткое слово и заменил его «головорезами», как будто оно было хоть чем-то лучше)... в общем, таких ребят он видел: они прилетали иногда из тыла противника для каких-то инструкций в штабе фронта.

Нину вдруг пронзило: да ведь он же просто ребенок, потерявший мамочку, давно уже, еще с той ночи 1937 года, с той ночи она уже к нему никогда не возвращалась; это ведь просто сиротка, бабушкин Бабочка. Она бросилась к нему на шею, повисла, зашептала в ухо:

– Умоляю тебя, Борька, родной, никогда никому, даже нам, не говори больше об этом! Неужели ты не понимаешь, с чем шутишь? Ради всего святого, ради всего нашего, градовского, перестань даже думать о переходе границы!

Он был поражен. Что за горячие мольбы? Значит, она все это восприняла всерьез, значит, тетка Нинка до сих пор не понимает шуток мужчин моего типа?

– Спокойно, спокойно, тетушка Нинушка... Легче, легче, мальчик просто пошутил. – Он погладил ее по спине и вдруг почувствовал нечто совершенно неподобающее племяннику по отношению к сорокадвухлетней тете. Быстро отстранился. Фрейдизм проклятый, подумал

он. Проклятушая мерзопакостнейшая фрейдуха. Закурил спасительную сигарету. – К тому же должен добавить, дорогие товарищи, у меня нет ни малейшего желания увидеть мою матушку. Пусть она там...

Подошел восемнадцатый трамвай, две большие коробки электрического света. Выпрыгнули два хулигана в восьмиклинках с подрезанными козырьками: укоренившийся еще с конца тридцатых тип под названием Костя-капитан. Семейство художника Певзнера погрузилось. «Кондуктор-Варя-в-синеньком-берете» дернула за веревочку, звоночек пробренчал. Коробки света двинулись в темноту, три милых башки – во второй. Мирный быт трамвайного кольца в поселке Серебряный Бор.

Борис притушил каблуком сигарету и тут же начал новую. Хулиганы стояли у закрытого киоска и смотрели в его сторону. Может, хотят потолковать пацаны? Хорошо бы сейчас с этими двумя поговорить. Одному – левой по печени, другому – правой в зубы. Отлетит прямо вон к тому забору. Говна не собрать! Сейчас самое время поговорить с этими двумя «костиками». Он прошел вплотную к ним и внимательно посмотрел в лица. Оба испуганно отвели глаза. Один шмыгнул носом.

Не менее трех часов продрожала ученица парикмахерского училища Люда Сорокина в особняке на улице Качалова в ожидании неизвестности. А чего, казалось бы, бояться девушке в такой уютной роскошной обстановке? Огромный, нежнейшего ворсу ковер покрывает пол салона, вот именно, иначе и не скажешь, салона с мягкими неназойливыми, да еще и затененными изящными абажурами, источниками света. В трех узких хрустальных вазах стоят три расчудеснейшие розы: красная, розовая и кремовая. Еще два великолепных ковра, правда не новых, явно бывших в употреблении, один с какими-то маврами в крепости, другой с морскими чудовищами, свисают со стен. На третьей стене библиотечные полки с книгами в кожаных переплетах. Четвертая стена задрапирована товаром высшего класса, шелк с кистями, за драпировкой высоченное окно; в шелковую шелку видать – под окном взад-вперед прохаживается военный. Что еще заметила Люда Сорокина за эти три часа? В углу стоит мраморная фигура обнаженной девушки, такая фигура, как вроде у самой Люды, когда ее можно увидеть в зеркале Даниловских бань по дороге в моечную залу. Как раз вчера Люда была с матерью и соседкой в бане и очень хорошо промыла все сокровенные места. Мраморная девушка остатками одежды прикрывает свое главное место, но на губах у нее порочная улыбка. У Люды губы дрожат: неизвестно, что ее ждет в салоне, какие обвинения будут предъявлены. Вот еще одно непонятное наблюдение. Таких красивых зеркал, как из Даниловских бань, то есть в резных рамах, здесь целых три. Слева от койки, справа от койки и, что еще довольно интересно, в наклонном виде прямо над койкой. Ну вот, значит, и койка, похожая, как бы старший мастер Исаак Израилевич сказал, на произведение искусства. Эту койку даже и койкой-то не назовешь, потому что по жилплощади она, может быть, не уступает всей сорокинской комнате в дальнем Замоскворечье, то есть 9 кв. метров. У нее есть головная спинка из резного дерева, там, мама родная, сплетаются два лебедя, а вот ножная спинка отсутствует. Койка очень низкая, полметра высотой, под ней не спрячешься. В общем, это, конечно, не койка, а вот, как в «Королеве Марго» Александра Дюма написано, ложе. Вот именно, ложе, покрытое опять же ковром с переплетенными цветами, и, кроме того, разбросаны бархатные подушки. Оно, кажется... Люда оглянулась, потрогала рукой поверхность: тугое и малость пружинит. Что со мной тут будут делать? Неужели, как в училище говорят, будут совокуплять с мужским органом? Да ведь генерал же такой красивый приглашал, такой солидный. Ой, лишь бы не расстреляли!

Приходила тетька в кружевном фартучке и в такой же наколочке на голове. Принесла поднос, мама родная, с очаровательными фруктами и с тремя шоколадными наборами, в каждом серебряные щипчики. «Дамочка, дорогая, где я нахожусь?» Тетька улыбнулась совсем без душевной теплоты. «Вы в гостях у правительства, девушка. Кушайте эти вкусные вещи».

Люда съела одну штучку. Ой, какая же вкусная, моя любимая, которую и пробовала-то один раз в жизни: орех в шоколаде! Ну, правительство ведь не расстреливает же, само-то ведь оно не расстреливает же. Ну, ведь и совокupлять, наверное, не будут, иначе как-то будет выглядеть несолидно. Вдруг заиграла музыка, и от этих звуков симфонических Люда опять вся затрепетала и поняла, что добром отсюда все же не уйдешь. И вот наконец через три часа пришел старик в театральном халате с кистями, как на занавеске. На голове ковровая тубетейка, на мясистом носу очки без дужек, кажется, называются «пениснэ». Люда вскочила, ну прямо как эта мраморная девушка, хоть и была вся одетая.

– Добрый вечер, – культурно сказал старик, кажется нерусский. – Как вас зовут?

– Люда, – пролепетала юная студентка волосяного искусства. – Люда Сорокина.

– Очень приятно, товарищ Люда. – Он протянул руку. Кажется, он только Люду услышал, Сорокина ему как будто без надобности. – А меня зовут Лаврентий Павлович.

От страха Люде это довольно благозвучное имя показалось каким-то жутким «Ваверием Саловичем».

– Не надо волноваться, товарищ Люда, – сказал Ваверий Салович. – Сейчас мы будем ужинать.

Он сел рядом с Людой в кожаное кресло и нажал какую-то кнопку на высокохудожественном столике. Почти немедленно давешняя женщина вместе с военнoслужашим вкатила столик на колесиках; Люда даже и не знала, что такие бывают. Все блюда прикрыты серебряными крышками, кроме хрустальной вазы с холмом икры. Этот продукт Люде был знаком еще по культпоходу в ТЮЗ, когда в антракте угощались бутербродами. Вот что было совсем малознакомо, так это ведро на столе, из которого почему-то торчало горлышко бутылки. Две другие бутылки приехали самостоятельно, то есть без ведрышек. Все расставлено было на художественном столике перед Людой и Ваверием Саловичем. После этого обслуживающий персонал укатил свое транспортное средство. Ваверий Салович улыбнулся, как добрый дедушка, и продемонстрировал Люде, как надо разворачивать салфетку.

– Вы любите Бетховена? – спросил он.

– Ой, – выдохнула Люда.

– Давайте-ка начнем с икры, – посоветовал он и строго добавил: – Надо съесть сразу по три столовых ложки. Это очень полезно.

Может быть, это доктор правительственный, подумала Люда. Медосмотр?

– Как вы чудно кушаете эту серебристую икру, товарищ Люда, – улыбнулся Ваверий Салович. – У вас губки как черешни. И наверное, такие же сладкие, а? – Он гулко, заглушая музыку, расхохотался. Нет, медики так не смеются. – А вот теперь надо выпить этого коллекционного вина.

Собственноручно Ваверий Салович наполнил хрустальный бокал темно-красным и прозрачным напитком.

– Да ведь я же не пью, товарищ, – пробормотала она.

Он лучился добротой.

– Ничего, ничего, вам уже пора пить хорошее вино. Сколько вам лет? Восемнадцать? Скоро будет? Охо-хо, опять эти законы РСФСР! Ну-ну, пейте до дна, до дна!

Люда сделала глоток, потом еще глоток, еще, ну, никак не оторвешься от этого вина. Вдруг рассмеялась соловьиной трелью: «Ваверий Салович, вы, наверное, доктор?» Показалось, что покачивается на волнах. Весь стол покачивался на мягких волнах. Приятнейшие волны раскачивают всю нашу комнату – вот Ваверий Салович правильное слово нашел: будуар...

– Вам нравится наш будуар, Людочка?

Мы раскачиваемся все вместе, с мебелью, всем будуаром, и потому тарелки не падают. А почему же так плотно приближаться? Если нужен медосмотр, пожалуйста, но зачем же так тянуть? Меня вырывают из будуара, куда-то тянут. Ваверий Салович, помогите! Ведь я в гостях

у правительства! Ваверий Салович, вы меня так не тяните, вы мне лучше помогите вырваться от этого Ваверия Саловича. Ой, смешно, да ну вас, в самом деле, как-то несолидно получается, Исаак Израилевич...

Берия перетащил обмякшую девицу на тахту, начал раздевать. Она по-детски бубукала вишневыми губками, иногда повизгивала поросеночком. Какое ужасное белье они тут носят в этом городе. От такого белья любое желание ебать пропадает, понимаете ли. Комбинашка самодельная в горошек, штанишки розовые, байковые, кошмар... Еще хорошо, что девчонки укорачивают эти штанишки, обрезают их повыше резинок, которые безбожно уродуют их ляжечки. Безобразие, никакой у нас нет заботы о молодежи. В первую очередь надо будет наладить снабжение женским бельем. Он раскрыл штанишки, прижал к носу. Пахнет неплохо, парное, чуть кисленькое, по шву немного какашечкой потягивает, но это естественно в таком-то белье. Желание стремительно увеличилось. Сейчас надо всю ее раздеть и забыть про социальные проблемы. В конце концов, имею я право на небольшие наслаждения? Такой воз на себе тащу!

Он раздел Люду догола, вот тут уже все первосортное, стал играть ее грудями, брал в рот соски, поднял девушке ноги, начал входить, вот сейчас, наверное, заорет, нет, только лишь улыбается в блаженном отключении, какое-то еврейское имя шепчет – и тут они! Не-е-ет, теперь, как видно, по Москве целки не найдешь!

Тут Берия понял, что приходит его лучшая форма, блаженное бесконтрольное либидо. Теперь полчаса буду ее ебать без перерыва. Даже жалко, что она в полубессознательном состоянии, лучше бы оценила. Эти порошки из спецфармакологии немножко все-таки слишком сильные. Он стащил с себя халат и увидел в зеркале восхитительно безобразную сцену: паршивый, с отвисшим мохнатым брюхом старик ебет младую пастушку. В верхнем зеркале зрелище было еще более захватывающим: желудевая плешь, складки шеи, мясистая спина, по которой от поясницы к лопаткам, что твои кипарисы, ползут волосяные атавизмы, видна также розоватая, ноздреватая свинятина ритмично двигающихся ягодиц. А из-под всего этого хозяйства раскинулись в стороны девичьи ножки, ручки, виднеются из-за его плеча затуманенные глазки и стонущий рот; такая поэзия! Жаль только, что нельзя одновременно осветить и наблюдать главные участки боевых действий. Эта техника у нас пока не продумана.

Берия таскал Люду Сорокину вдоль и поперек необъятной тахты. Иногда, для разнообразия, переворачивал девушку на животик, под лобок ей подсовывал подушку, сгибал ноги в желаемую позицию: вот идеальная партнерша – горячая кукла!

Влагалище у нее слегка кровило. Недостаточно разработано. Этот Исаак Израилевич недостаточно еще девушку разработал. Ничего, в недалеком будущем в нашем распоряжении окажется идеальное влагалище! Для пущего уже куражу Берия начал щипать Люду Сорокину за живот, причинять боль, чтобы заплакала. Не заставила себя ждать, разрыдалась сквозь эмгэбэшную фармакологию. Какая красота, мени дэда товтхан, кавказский злодей, понимаешь, ебет рыдающее русское дитя!

И вот наконец подошло то, о чем Берия Лаврентий Павлович, названный через четыре года на июльском пленуме ЦК в речи Хрущева Н. С. наглым и нахальным врагом СССР, всегда мечтал в казематах и углах своей плохо освещенной души. Исчезли все привходящие, дополнительные мотивы его ненасытной похоти. Забыв о своем всеильном злодействе и о всей прочей своей мифологии, столь скверно всегда его возбуждавшей, – я, мингрел, могу любую русскую бабу ебать, могу любую превратить в блядь, в рабыню, в трофей, могу расстрелять, могу помиловать, могу пытать, могу хорошую квартиру дать, французское белье, родственников освободить из-под стражи или, наоборот, всех втоптать в вечную мерзлоту, – забыв обо всем этом, он вдруг просто ощутил себя мужчиной, жарким и страстным, влюбленным в мироздание, открывшееся ему всей своей промежностью, то есть в Женщину, товарищи, с большой буквы.

Кто хорошо это понимает, так это Петр Шария, думал Берия, умиротворяясь рядом с бормочущей сквозь забытие девчонкой, вытирая свой горячий еще отросток ее рубашечкой в горошек. Хорошо, что я его тогда вытащил из когтей этого большевистского мужичья. Экую, видите ли, нашли измену – пессимистические стихи, посвященные умершему от туберкулеза юному сыну. В глубине особняка, ему показалось, слышался визг законной супруги. Закатывает истерику. Требуется, чтобы ее пропустили в будуар. А если я сейчас прикажу ее пропустить, испугается, спрячется наверху. Дождется, что привяжу ее в саду к березе и выпорю ногойской плетью. Гордая Гегечкори, чучхиани чатлахи! Кто вам сказал, что второй человек государства должен быть под каблуком у фригидной бабы?

Шария это понимает. С ним я могу откровенничать. Он поэт, пессимист, такая же бяда, как я, он меня не боится. Зураб – не друг, он меня боится. В нем уже никакой жизни нет, в нем только страх перед Берией живет, больше ничего. С ним я не могу откровенничать, а Шария я могу рассказать все о своей ебле и о своей жене, забыть всякую политику. Если я их двоих сейчас ночью приглашу выпивать, ебать эту голубушку, Зураб не захочет. Он, хлэ, конечно, придет, но только от страха. А Шария придет, если захочет. А если не захочет, не придет. Поэт, партийный авантюрист, совершенно меня не боится.

Я окружен говном. Когда момент придет, все это говно вычищу. Надо себя окружить настоящими товарищами, когда момент придет. Мужчинами, поэтами, не большевиками, а партийными авантюристами. Все это мужичье разгоню из Политбюро. Хватит, поиздевались над народом. Дундуку Молотову, кретину Ворошилову, этой лошади Кагановичу, Никитке-свинтусу Хрущеву, всем им пора на свалку. Жорку Маленкова, Жорку Маленкова... Жорку тоже вычищу; в новом, бериевском обществе не потянет. Как только момент придет, сразу начнем решительную перестройку всего общества. Коммунизм подождет. Распустим колхозы. Радикальное сокращение лагерей. В стране не может быть такой процент врагов, это может неприятно сказаться в будущем. Главное, что надо сделать? Перемещение власти от большевистского мужичья к железным чекистам, своим ребятам. Постепенно начнем выкорчевывать всех шпионов ЦК из аппарата, братья Кобуловы займутся этим делом. Сразу нельзя: начнется визг о «буржуазном перерождении». Сначала мы партию задвинем в огород, пусть своими кадрами занимается и пропагандой, а в государственные дела не лезет. Артачиться начнут, устроим процесс ведущей сволочи, обвиним... ну, в шпионаже в пользу английской короны. Можно не сомневаться, все признаются. У Абакумова даже ишак признается, что был короной. Воображаю, как Никитка будет признаваться. Любопытно будет посмотреть, никогда не откажу себе в этом удовольствии. Все это дурачье гроша не стоит, сотрем в лагерную пыль.

Давайте разберемся. Берия прикрыл халатом храпящую в глубоком провале девушку, откатился к краю тахты, встал на тонкие ножки, надо похудеть, давайте разберемся, что такое коммунизм. Вот когда выпивали у Микояна (этого армянина не вычистим, способный, циничный, давно все понял), вот тогда я у Никитки спросил: ну, как ты видишь себе коммунизм, Сергеевич? Ну что может сказать курский мужик? Сала, говорит, много будет, говядины. А у нас, говорит, многие отрасли сельского хозяйства находятся в запущенном состоянии. А какой же, говорит, коммунизм, если нет лепешек и масла? И это будущее для великой страны? СССР должен быть богатым и шикарным, и если это не коммунизм, пусть этот коммунизм собаки пожрут.

В будуаре по-прежнему горели три маленькие лампочки, темно-кремовый свет разливался по коврам. Изнасилованная девица подрагивала под халатом. Соломенная куча волос. Берия налил себе стакан вина из другой бутылки. Выпив, закурил длинную гаванскую сигару. Вот блаженство, ночное удовлетворение эротических и эстетических запросов, развитие любимых тайных концепций. Без Запада, конечно, не обойтись. Западу надо сразу показать, что с нами можно иметь дело. Пойдем на решительные уступки Западу. Отдадим им эту говенную ГДР, на хера создавали такого уродца, Ульбрихта и всю эту бражку – на Колыму! Объединен-

ная Германия должна быть миролюбивой, нейтральной страной. Дальний прицел – противопоставим Европу Америке. Ну, просто для баланса. С Америкой – торговать, торговать, торговать! Откроем двери для больших фирм. Вот вам и «холодная война», господин Уинстон Черчилль! Что за абсурд, батона? Если война, она должна быть горячей, как ебля. «Холодная война» – это онанизм.

Конечно, замирюсь с Тито, съезжу к нему на Бриони, посмотрю, как устроился. Средиземноморские вожди должны друг друга уважать.

Когда момент придет, конечно, надо будет разобраться в национальной политике. Мужичье тут немало дров наломало. Активный костяк многих наций искорежен, на Западной Украине, в Литве, в любимой Мингрелии... Из этих людей, тех, что уцелели, надо внимательно отобрать таких, кто сможет быть нам помощниками в такой грандиозной перестройке. Надо, чтобы люди понимали меня с полуслова, а лучше с одного взгляда. Когда момент придет, нам часто придется говорить одно, а делать другое...

В углу будуара вдруг глухо гукнул дважды самый важный телефон страны, как бы предупреждая маршала: хватит фантазировать, момент еще не пришел. Этот глухой двойной сигнал пробуждал Берию из самого глубокого сна. Хозяин! Взял себе в привычку ночью сидеть в кабинете. Видно, опять сова его стала по Кремлю гонять. Да, момент еще не пришел.

– Слушаю, товарищ Сталин!

На тахте вдруг белорыбицей всплеснулась Люда Сорокина. забормотала: «Исаак Израилевич, Ваверий Салович...» Берия прыгнул, зажал ей ладонью вишневые губки.

– Что там у тебя, Лаврентий? – спросил Сталин.

– Персонал, товарищ Сталин, – проговорил он в ответ.

Сталин кашлянул:

– Если не спишь, давай приезжай. Есть ыдеи.

Антракт I. ПРЕССА

«Зери и популит»

Тито – это всего лишь ошипанный попугай американского империализма!

Энвер Ходжа

«Правда»

...Студентка в Пензе сидит над томиком Радищева. От благородных слов чаще бьется сердце. Что ей «Стандарт ойл», что ей речи Даллеса и Черчилля?.. Теперь американские рвачи хотят вытоптать сады Нормандии... Они боятся русских, потому что русские хотят мира...

Илья Эренбург

«Тайм»

Анна Луиза Стронг о советских колхозниках: «Сто миллионов самых отсталых в мире крестьян почти в одночасье перешли к ультрасовременному сельскому хозяйству... Их увеличившийся доход трансформировался в шелковые платья, парфюмерию, музыкальные инструменты...»

Кремль об Анне Луизе Стронг: «Скандально известная журналистка была арестована органами государственной безопасности 14 февраля 1949 года. Ей предъявлено обвинение в шпионаже и подрывной деятельности против СССР...» На этой неделе Москва выслала А. Л. Стронг из России. Стронг потеряла своего коммунистического бога, которому так хорошо служила.

«Правда»

Да, снова лгут они
 в конгрессах и сенатах.
Да, лжет газетный лист,
 и книга, и эфир,
Но время мчит вперед,
 и нет путей обратных —
Не тот сегодня век,
не тот сегодня мир.
Мы видим их игру...

Николай Грибачев

С именем Сталина трудовые люди мира выиграют борьбу за мир!
Элие Сезер, поэт (остров Мартиника)

Обуздать поджигателей войны! Над площадями Варшавы долго и неумолчно гремело:
«Сталин! Сталин! Сталин!»

«Тайм»

Самым трагическим гостем Нью-Йорка на прошлой неделе был знаменитый композитор России Дмитрий Шостакович. Он прибыл, чтобы участвовать во Всемирном конгрессе деятелей культуры и науки за мир. Являясь символом свирепости полицейского государства, он говорил как коммунистический политик и действовал так, как будто его приводил в движение часовой механизм, а не сознание, творящее удивительную музыку...

Среди спонсоров нью-йоркского Конгресса мира знакомые имена леваков, вроде драматурга Артура Миллера, романиста Нормана Мейлера, композитора Аарона Копланда...

Боссом и директором русской делегации является румяный, узкоглазый Александр Фадеев, политический руководитель советских писателей и чиновник МВД.

«Чикаго трибюн»

Два советских авиатора, белокурый 29-летний Анатолий Барсов и черноволосый 32-летний Петр Пирогов, угнали самолет в Линц (Австрия) и попросили у американских властей политического убежища.

«Культура и жизнь»

ОБ ОДНОМ МЕСТНОМ ТЕАТРЕ

Наши театры должны стать рассадниками всего самого передового. Однако в старейшем театре страны – Ярославском драматическом имени Ф. Г. Волкова – не всегда выполняется постановление ЦК ВКП(б) «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению». Ставятся безыдейные порочные пьесы, в том числе даже «Парусиновый портфель» М. Зощенко. Такой пьеске, как «Вас вызывает Таймыр» А. Галича (Гинзбурга), и вообще не место на сцене театра им. Волкова...

Художественный руководитель Степанов-Колосов и директор Топтыгин попали под влияние подголосков буржуазных космополитов, разоблаченных в постановлении ЦК «Об антипатриотической группе театральных критиков»...

«Литературная газета»

Трудящиеся Советского Союза требуют окончательного разоблачения критиков-космополитов Юзовского, Гуревича, Альтмана, Варшавского, Холодова, Бояджиева и иже с ними...

«Тайм»

Полковник В. Котко в газете «Вечерняя Москва» разоблачает немарксистский подход к вопросу о чаевых. В парикмахерской, пишет он, человек со щеточкой стряхивает с тебя несуществующие волосы и смотрит выжидательно. В театре вам предлагают бинокль и в ответ на вопрос о цене говорят: «сколько дадите»... Новые социальные отношения сделали отвратительными эти отжившие унижительные привычки.

«Нью-Йорк таймс»

Суд в Варшаве приговорил к смертной казни сборщика лома за кражу медной проволоки.

«Тайм»

Военная разведка США сообщает, что венгерский кардинал Мидсенти после ареста и следствия находится под наблюдением тюремных психиатров.

Советские газеты обвиняют в жестокостях югославские власти и, в частности, возлагают личную ответственность на министра внутренних дел Александра Ранковича, который в 1946 году провел долгое время в Москве, стажирясь в своем деле под руководством босса советской секретной полиции Лаврентия Берии.

«Правда»

ЯНКИ В РИМЕ

На улицах ты видишь жирного заокеанского хама в огромных башмаках. Он жует чуингам и тащит за руку местную девушку. Кабальный план Маршалла предлагает итальянцам назойливые рекламы американских фирм. То тут, то там видишь изображение наглой девицы с кока-колой. И это в стране натуральных лимонадов и оранжедов!

Борис Полевой

«Литературная газета»

К ЮБИЛЕЮ ГЁТЕ

Понять такое сложное, многообразное, противоречивое явление, как жизнь и творчество Гёте, оказалось не под силу буржуазной мысли. И только коммунистическая мысль смогла в полном объеме показать творчество Гёте.

И. Анисимов

«Правда»

ЗА БОЕВОЙ ФИЛОСОФСКИЙ ЖУРНАЛ

В статье «Космополитизм – идеология империалистической буржуазии» чрезмерно много места уделяется разной дряни, вроде мертворожденных писаний реакционных буржуазных профессоров Милукова, Яценко, Гершензона, писаний, от которых за версту несет трупным смрадом...

ПОДНЯТЬ ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ ЖУРНАЛА «ЗВЕЗДА»

Глубоко порочна повесть Юрия Германа «Подполковник медицинской службы». Переходные советские люди изображены в ней безвольными хлюпиками, погруженными в нудное психологическое самокопание. Центральный персонаж, доктор Левин, – пустой и вздорный старик, ложно выдаваемый автором за смелого экспериментатора.

В. Озеров

«Литературная газета»

В газете «Монд» появилась статья некоего Андре Пьера. Он утверждает, что произведения Пушкина будто бы обедняются, когда их переводят на грубый язык бурят, коми, якутов и чувашей. Группа якутских писателей разоблачает фашистского борзописца и его хозяев. Эстетствующий мракобес, видимо, и не слышал о всемирно известном 13-томном словаре якутского языка академика Пекарского. Отвечая глубоким презрением на выходку Андре Пьера, мы горячо приветствуем трудовой народ Франции.

«Тайм»

Шесть месяцев прошло с тех пор, как Вячеслав Молотов был освобожден от поста министра иностранных дел, и, хотя он удерживает звание заместителя премьер-министра, пушечное ядро его головы ни разу не появлялось на официальных фото.

«Вашингтон пост»

СУД НАД ПРЕДАТЕЛЕМ ВЕНГЕРСКОГО НАРОДА (РЕПОРТАЖ ИЗ ЗАЛА СУДА)

Второй человек в иерархии Венгерской компартии Ласло Райк признался перед народным судом в Будапеште, что он в течение 18 лет был шпионом последовательно диктатора Хорти, гитлеровского гестапо и американской разведки.

«Правда»

Напрасно стараются господа белградские писаки: тайные рычаги заговора были в руках Аллена Даллеса и Александра Ранковича... Белградское радио продолжает нечленораздельно бубнить о кознях Коминформа. Перед судом стоит человек и монотонным, равнодушным голосом рассказывает историю чудовищных предательств, затеянных и уже совершенных убийств.

Борис Полевой

«Юманите»

Кампанией клеветы на Советский Союз реакционеры хотели бы заставить народы забыть тот простой факт, что социализм – это мир, а капитализм – это война.

Морис Торез

«Непсабадишаг» – ЮПИ

Адвокат на будапештском процессе сказал о своем подзащитном генерал-лейтенанте Дьерде Палфи: «Я должен защищать этого человека, хотя он мне отвратителен».

«Тайм»

На долю хорошенькой негритянки миссис Тельмы Дайел, домохозяйки и жены музыканта, выпало от лица 12 присяжных (4 мужчин и 8 женщин) объявить вердикт по отношению к одиннадцати подсудимым, боссам американской компартии: каждый из обвиняемых признан виновным в заговоре по подстрекательству к насильственному свержению правительства США.

Закончился длиннейший в истории страны криминальный процесс, который вел судья Гарольд Медина, плотный человек с элегантными усиками и большими меланхолическими бровями. Он продолжался 9 месяцев. Защита опросила 35 свидетелей, правительство – 15 свидетелей. Показания состоят из 5 000 000 слов. Стоимость процесса для защиты 250 000 долларов, для правительства 1 000 000 долларов. Установлено, что подсудимые хотели в нужный момент путем стачек и саботажа парализовать экономику, насильственно свергнуть правительство и установить диктатуру пролетариата. Приказы поступали непосредственно из Москвы.

«Правда»

Судебная расправа над коммунистами продолжалась 9 месяцев. Присяжные были тщательно просеяны ФБР. В списке свидетелей предстали 13 шпионов, провокаторов, ренегатов,

продажных людей. Судья Медина стал символом дикого преследования коммунистов и всех прогрессивных сил в Америке.

Кукрыниксы: «Американская дубина – судья медина!»

Капиталистический способ земледелия неизбежно ведет к истощению почвы. В США многие миллионы гектаров доведены до крайнего истощения.

Претворяя в жизнь сталинские планы, колхозное крестьянство полностью овладело силами природы в интересах создания изобилия продовольствия, в интересах построения коммунизма.

Впечатления советского моряка, электромеханика Задорожного, от Нью-Йорка. «В магазинах покупателей нет. Прилично одетые люди просят цент на пропитание. Трое дюжих молодых били негра. Наш пароход повсюду встречали возгласами: „Да здравствует Сталин!“»

«Литературная газета»

Роман Павленко «Степное солнце» – это горячий, стремительный, оптимистический рассказ о больших делах простых советских людей.

Валентин Катаев

«Тайм»

На экранах Москвы идут пять фильмов, которые названы просто иностранными без указания источника, среди них «Последний раунд» и «Школа ненависти» об ирландском восстании против Англии. Эти фильмы на деле являются продуктами геббельсовского ведомства пропаганды, они были направлены на возбуждение антибританских и антиамериканских чувств.

«Лайф»

О сыне советского диктатора генерал-лейтенанте Василии Сталине в Москве ходит немало слухов. Согласно одному из них, В. Сталин однажды пилотировал самолет, на котором, кроме него, находилась только некая женщина с ребенком. Над полями Белоруссии В. Сталин выпрыгнул из самолета на парашюте.

«Нью-Йорк таймс»

372 беженца из СССР достигли Швеции на судне, которое может вместить не более 50 пассажиров. Среди них поляки, эстонцы, белорусы и латыши.

Одиннадцать признанных виновными боссов американской компартии явились в суд, чтобы узнать о приговорах. Десятеро из них получили по 5 лет тюрьмы и 10 000 штрафа за заговор по подстрекательству насильственного свержения правительства США. Одиннадцатый, кавалер Креста за выдающуюся службу во время войны, получил три года.

«Лайф»

Восторженные москвичи не могли оторвать глаз от неба, когда над парадной Красной площадью пролетел огромный четырехмоторный бомбардировщик в сопровождении истребителей. На следующий день у всех отвалились челюсти, когда в газетах и по радио было объявлено, что самолет пилотировал командир воздушного парада генерал Василий Иосифович Сталин. Большинство граждан не знало, что у отца народов есть сын.

Василий имеет двух детей от своей второй жены, дочери маршала Тимошенко. Он отличается вспыльчивостью, пьянством и склонностью улаживать споры с помощью кулаков.

«Правда»

Дочь отчизны,
Советской женщиной зовусь,
И этим я горда.

Екатерина Шевелева

ТОРГОВЦЫ ЯДАМИ

Правительство Трумена хочет насадить американские нравы по всей маршаллизированной Европе. Париж наводнен голливудскими киновоевиками. Погнавшись за большими долларами, Марлен Дитрих снялась в антисоветском пасквиле «Железный занавес», который потерпел сокрушительный провал на французском экране. В фильме «Скандалистка из Берлина» дана правильная сатира на американские нравы, но одновременно этот фильм представляет собой циничный и наглый поклеп на советскую армию.

Юрий Жуков (Париж)

«Руде право»

Я люблю Советский Союз! Я видел своими глазами, как эту землю целовали Пабло Неруда, Эми Сяо, многие молодые женщины. Мы живем в эпоху тов. Сталина!

Ян Дрда

«Правда»

Гадина извивается. В Софии начался процесс Трайчо Костова.

Со Сталиным в наш дом вошла мечта.
Как утренняя песня молодца.

Алексей Сурков

С тех пор, как с нами Сталин, сбывается всякое затаенное желание советского народа.

Леонид Леонов

Коль Сталин с нами, значит правда с нами.

Джамбул

М. Шолохов: «Отец трудящихся мира». Ф. Гладков: «Вдохновитель созидания». А. Первенцев: «Наш Сталин». М. Исаковский: «Надежда, свет и совесть всей земли».

Антракт II. НИЧТРУСЫ – ТУДА!

Кот профессора Гординера любил стоять на одной ноге. То есть не то чтобы он на ней просто-напросто стоял, забыв о трех остальных конечностях, или, скажем, кружился на одной ноге, как балерина Лепешинская, однако он любил положить две передние лапы на подоконник и созерцать происходящее на дальней стороне улицы, на углу переулочка, на крышах низких домов и на карнизах высоких и в эти минуты поджимал к пузу то левую, то правую ногу, уподобляясь тем редким людям, у которых иногда возникает желание постоять на одной ноге.

Все-таки не зря я его назвал Велимиром, думал профессор Гординер. Сидя в глубоком кресле у батареи отопления в ожидании ареста, завернувшись в толстый плед верблюжьей шерсти, он созерцал кота, созерцающего объективный мир. Он вспоминал того, в честь кого семь лет назад назвал толстого боевого котенка, принесенного ему в подарок любовницей Оксаной. Смешно, но в мяуканье котенка почудилась ему какая-то веселая хлебниковская заумь. Тогда и возникло имя кота. Настоящий Велимир, конечно, не обиделся бы, наоборот, был бы польщен,

тем более что у кота с возрастом появилась хлебниковская манера стоять на одной ноге. То есть, простите, на одной лапе.

Бронислав Гординер когда-то входил в футуристическую группу «Центрифуга» и по этой линии не раз встречался с Хлебниковым. Тот был старше его на несколько лет; мифическая фигура поэта-странника, словотворца и вычислителя истории. Молодой критик благоговел, хотя по групповой принадлежности полагалось не благоговеть, а задирать одного из ведущих кубофутуристов, нагло предъявлявших права на все движения.

Хлебникова, надо сказать, групповая политика мало занимала, как мало его занимали молодые, благоговеющие перед ним критики. В разгар бурной дискуссии и посреди какого-нибудь места, на суаре ли у сестер Синяковых, в толпе ли у Сухаревской башни, он мог замереть, обкрутив праздную ногу вокруг другой, рабочей; с выражением лица полнейшего идиота что-то бормотать пухловатыми губами под вечно беспокойным носом. В такие минуты вокруг поэта возникало разреженное пространство: творит, не мешайте!

Ах, как здорово жилось тогда! Все эти полуголодные вернисажи! Головокружительное ощущение принадлежности к новому веку, к творителям новой культуры! Давно все это уже ушло. Сначала перестали хохотать, потом прекратили улыбаться, наконец, бросили собираться вместе, отошли от групп, то есть разобрали их до нуля общим отходом, потом, эх, потом вообще настали времена, когда о группах старались забыть, да и личные дружбы прежних грешных лет не особенно афишировались, а если где-нибудь в неподходящем месте вдруг выплывало чье-нибудь некогда славное имя, прежний групповщик лишь бормотал «ах этот» и тут же переключал стрелку на главную магистраль. Хлебников, измученный возвратным тифом, недоеданием, а в основном персидской анашой, умер еще в двадцать втором. Центрифуга поэзии, которой надлежало, по замыслу ее теоретиков Сергея Боброва и Ивана Аксенова, поднимать на поверхность крем словесного мастерства, пошла наперекосяк, взбаламутила на дне безобразный осадок. Лучше тем, кто ушел заблаговременно, как Иван; что бы он делал сейчас со своими «елизаветинцами», со своим «Пикассо»? Плачевны мы, оставшиеся, Сергей, я, Николай, даже Борис... Вот так, десятилетие за десятилетием, сидеть в маленьком холодном потцу, ждать ареста, не высовывать носа, Велимир, сжиматься в комочки, что твои мышки, строчить аккуратненькие, благонамеренные рецензийки, рифмовать версты подстрочного перевода; плачевны мы, Велимир. Я знаю, что ты сейчас скажешь...

«Времыши-камыши! Жарбог, Жарбог!» – отозвался кот. «Вот так так! – сказал Гординер. – Нет, не зря я назвал тебя Велимиром».

Кот отпрыгнул от окна и даже, как показалось Гординеру, перед тем как заскочить ему на колени, сделал некий однолапный пируэт. Устраиваясь на коленях любимого Бронислава, копая его плед и вельветовые штаны колючими лапами, бодая подвздошие ему крутую голову, кот мурчал: «Пинь, пинь, пинь, тарарахнул зензивер. О, лебедиво! О, озари!»

Говорят, что коты любят не человека, а свое место, думал недавно разоблаченный критик-космополит. Может быть, может быть, но меня Велимир любит явно больше, чем нашу комнату. То есть в этой комнате он больше всего любит меня. Мне отдает предпочтение даже перед диваном. Бесконечно следует за мной, лижет мне пятку во время совокуплений с Оксаной. Вполне возможно, он видит во мне не человека, а свое место, такое свое ходячее место... Эдакое покряхтывающее, бормочущее матерщинку, покуривающее, попукивающее, писающее в ведро, когда лень идти в коммунальный туалет, скрипящее перышком, шевелящее страницы любимое место. Только тяга к законному пространству соперничает в нем с привязанностью ко мне, только поэзия кошачьего космоса...

«Ну, что ты там лицезрел сегодня, в своем законном пространстве, Велимир?» Кот посмотрел на него снизу вверх, как заговорщик, и, словно убедившись, что подвоха нет, возбужденно запел: «Сияющая вольза желаемых ресниц и ласковая дольза ласкающих десниц.

Чезоры голубые и нравы своенравия. О, право! Моя моролева, на озере синем – мороль. Ничтруссы – туда! Где плачет зороль...»

«Эка хватил, – пробормотал Гординер. – Мы все обманываем себя, дружище Велимир. Красоты в объективном мире не существует, есть только ритм. Наш мир – лишь жалкий заговор культуры...»

Он вспомнил, как они вот в этой же комнате еще в тридцать четвертом говорили на эти темы с Иваном Аксеновым, только тот, естественно, сидел не на его коленях, а вон на той, тогда еще не протертой до мездры шкуре медведя. Хотя бы обои переклеить один раз с тех пор, хотя бы выветрить когда-нибудь запах холостяцкой мизантропии!

Привычное советское многолетнее вялое ожидание ареста недавно сменилось у профессора Гординера более ощутимым, то есть до некоторых спазмов в кишечнике, его ожиданием. После нескольких упоминаний его имени в списках других людей с неблагозвучными для русского уха именами все его статьи в журналах завернули, а самого его вычистили из профессуры ГИТИСа, где он читал курс по Шекспиру. Хотя никого еще из отъявленных мерзавцев-космополитов не посадили, однако в печати все чаще появлялись требования трудящихся разоблачить до конца, а это означало, что общий знаменатель приближается.

Все это было еще окрашено чудовищной иронией. На фоне бесконечных требований «раскрыть скобки» Гординер являл собой парадоксальный выверт литературы и судьбы. Дело в том, что у него-то в скобках как раз скрывалось самое что ни на есть великолепное не еврейское, белорусское благозвучие, а именно Пупко. В далекие футуристические годы юный критик Бронислав Пупко решил, что с такой фамилией в авангард не проедешь, вот и выбрал себе псевдоним, в котором, как ему казалось, звучала как бы славянская стрела, перелетающая немецкую твердыню. К имени этому в литературных кругах скоро привыкли, и он сам к нему привык до такой степени, что про Пупко своего изначального даже и забыл, даже и паспорт получил в начале тридцатых на фамилию Гординер. Кто же думал тогда, что придется отвечать за такое легкомыслие, что такое неизгладимое еврейство приклеится к его седым бакенбардам и пегим усам вместе с этим псевдонимом? Что же теперь делать? Не вылезать же на трибуну, не бить же себя в грудь, не вопить же: «Я Пупко, я Пупко!» Нет, до такого падения он все-таки не дойдет! Отказываться от Гординера – это все равно что отказываться от всей жизни, перечеркнуть свое место в литературе, оплевать все свое творческое наследие! Нет уж, пусть приходят и берут Гординера; Пупко отсюда не убежит, в комсомол возвращаться постыдно! «А ты уходи, – говорил он Велимиру. – Когда они явятся, я открою форточку, ты прыгай туда и сразу уходи по крышам. Ты знаешь, где живет Оксана, немедленно отправляйся к ней один или со своей мороловой. Им в руки не давайся!»

«Проум, праум, преум, ноум, вэум, роум, заум», – отвечал кот.

Ближе к вечеру приехала Оксана и прямо с порога начала снимать юбку. Их связь тянулась уже много лет, и, как они оба говорили друг другу и сами себе, она заполняла собой их «кулуары романтики». Оксана когда-то, естественно, была студенткой Гординера по шекспировскому курсу, тогда-то и выяснилось, что оба они не могут говорить о «пузырях земли» без волнения. С годами она из девчонки с задранной носиком превратилась в статную даму с чуть поблескивающим меж по-прежнему дивных губ металлокерамическим мостом. В лице у нее иногда уже мелькало что-то мрачно-величественное, и Гординер во время свиданий прилагал все усилия, чтобы хоть на миг сквозь обычную для московской женщины усталость выглянула та прежняя, с шекспировской лекции, восторженная девчонка. Свидания, увы, становились все более деловитыми, как бы рассчитанными до минуты. Семья обременяла Оксану: муж, сотрудник Минтяжпрома, и трое детей, из которых среднее дитя, дочь Тамара, было, по ее убеждению, зачато вот в этой самой комнате, на этом самом протертом кожаном диване.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.